
ИГНАТИЙ ПОТАПЕНКО

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

ИЗ ДУХОВНОГО БЫТА



Игнатий Потапенко

**Повести и рассказы
из духовного быта**

«Издательство Сретенского Монастыря»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

Потапенко И. Н.

Повести и рассказы из духовного быта / И. Н. Потапенко —
«Издательство Сретенского Монастыря»,

ISBN 978-5-7533-1383-6

Игнатий Николаевич Потапенко (1856–1929) — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы, обладавший литературным талантом, один из самых популярных авторов 1890-х годов. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, знакомой писателю не понаслышке. Будучи сыном сельского священника, он сделался отличным бытописателем городков, деревень и местечек южнороссийских губерний, изобразителем мещанских нравов, чиновничьей психологии и беспросветного существования городских низов. Для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-7533-1383-6

© Потапенко И. Н.
© Издательство Сретенского
Монастыря

Содержание

От издателей	5
На действительной службе	9
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Игнатий Потапенко

Повести и рассказы из духовного быта

От издателей

Вниманию читателя предлагается сборник произведений некогда известного русского писателя Игнатия Николаевича Потапенко (18.12.1856–17.05.1929), к сожалению, ныне забытого. Это был человек необычной судьбы, обладавший незаурядным литературным талантом.

Игнатий Николаевич родился в селе Фёдоровка Белозёрского уезда Херсонской губернии в семье священника и крестьянки. Вначале он получил духовное образование, окончив Херсонское духовное училище и Одесскую духовную семинарию, затем – светское в Новороссийском и Петербургском университетах и в Петербургской консерватории (по классу пения). Как и многие русские прозаики, Потапенко начинал со стихов, первые его поэтические опыты относятся к детскому возрасту. С 1873 года он начинает печататься: сначала в газетах и журналах – «Русская правда», «Новь», «Дело», «Вестник Европы», «Книжки недели» и др., затем появляются сборники его рассказов и очерков.

В 1890 году имя И. Н. Потапенко «прогремело» в связи с изданием его повести «На действительной службе», которая стала настоящим событием в литературной жизни России и принесла автору широкую известность. Повесть о молодом священнике-альтруисте с «говорящей» фамилией Обновленский. Священник-идеалист, отказавшийся от разворачивающейся перед ним карьеры городского протоиерея, едет в захудалое село, чтобы разделить с его жителями все тяготы и невзгоды. Он не заботится как о собственном благосостоянии, так и о доходах своих собратий – многолетних священников, дьяконов и дьячков и в результате самоотверженного служения обретает любовь и преданность прихожан. «Произведения Потапенко пользовались популярностью у массового читателя не только потому, что он, обладая острой наблюдательностью, точностью и емкостью изображений, воспроизводил в своих романах, повестях, рассказах, очерках, пьесах живую жизнь, живые характеры, но и потому, что он схватывал тенденции, ростки нового в этой жизни (хотя бы теорию “малых дел”, труда для блага других людей, бескорыстного служения обществу), а значит и давал некоторую надежду на перемены к лучшему, внушал оптимизм. При желании его можно было бы отнести к зачинателям социалистического реализма (с его непрременной составляющей – революционной романтикой)»¹.

Дальше Потапенко становится чуть ли не самым «плодовитым» писателем конца XIX века: рассказы, очерки, романы, повести и театральные пьесы печатаются почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах, выходят как отдельными изданиями, так и в сборниках, переводятся на иностранные языки. В конце 1890-х – середине 1900-х годов Собрание сочинений Потапенко в 12 томах выдерживает пять (!) изданий. В это самое время его популярность была сравнима с популярностью А. П. Чехова и Л. Н. Толстого.

Наиболее яркие произведения Игнатия Потапенко посвящены жизни приходского духовенства – жизни, знакомой писателю не понаслышке. Будучи сыном сельского священника, он сделался отличным бытописателем городков, деревень и местечек южнороссийских губерний, изобразителем мещанских нравов, чиновничьей психологии, беспросветного существования городских низов. «В повестях и рассказах Потапенко начала 1890-х годов не только отражались самые разные проблемы и события российской жизни, противостояли друг другу и отстаивали свою позицию живо запечатленные типы русского человека той эпохи, но и твердо выражалась позиция автора – человек может что-то сделать, каждый должен внести хоть небольшой вклад

¹ Николенко С. Забытый? К 150-летию Игнатия Николаевича Потапенко // Литературная учеба. М., 2007. № 5. С. 152.

для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Отсюда оптимизм многих произведений писателя того времени, получивший заслуженную оценку: в 1891 году ему была присуждена половинная Пушкинская премия»².

Действительно, самая яркая черта Потапенко-беллетриста – это отсутствие пессимизма и скептицизма, бодрый и ясный взгляд на жизнь. Эту особенность отмечали даже те литературные критики, которые не слишком симпатизировали его творчеству: «Я не нашел, хотя искал, лучшего слова для определения главной особенности таланта г. Потапенка: *бодрый*, именно прежде всего и больше всего это *бодрый* талант. <...> Он премного доволен действительностью, хотя, как писатель умный и наблюдательный, совершенно понимает все ее недостатки и несообразности»³.

К наиболее удачным произведениям о жизни сельского духовенства, без сомнения, следует отнести рассказ «Шестеро» – трагическую историю многодетного дьякона, потерявшего свою супругицу. «Именно рассказы из быта духовенства я имел в виду, когда говорил о “прелестных жанровых картинах” г. Потапенка, преисполненных жизненной правды. Рассказ “Шестеро” может служить образчиком мастерства г. Потапенка в этом роде. <...> Рассказ замечателен именно тем, что представляет собою счастливое соединение психологического изображения *характера* и изображения условий известного *быта*. <...> Этот рассказ г. Потапенка – жемчужина между другими его, той же категории, рассказами...»⁴.

Игнатий Потапенко посвятил писательскому творчеству 60 лет жизни. Однако пик его популярности пришелся на конец XIX – начало XX столетия. Впоследствии он уже не был так востребован и, по мнению критиков, качество художественных произведений Потапенко стало снижаться.

Напоследок хотелось бы привести «литературную автобиографию» Игнатия Потапенко, составленную им в форме ответов на «опросный лист» для сборника Ф. Ф. Фидлера⁵. Эти строки несколько проливают свет именно на первые шаги И. Г. Потапенко в литературной деятельности. (Пропущенные пункты не были заполнены.)

I. *Наследственность (прямая или атаквистическая) писательского дара. Любовь к литературе и степень начитанности того или другого из родителей.*

– Отец мой читал исключительно духовные книги – творения свв. отцов, жития святых – и увлекательно говорил сельскому народу проповеди. Ничего не писал.

III. *Обстановка жизни в детстве и молодости. Первые прочитанные книги. Ранние жизненные опыты или отсутствие их, способствовавшие или мешавшие развитию писательского дара.*

– Малороссийская деревня. Бурса. Книги – какие попадались. Рано попался Гоголь и произвел неотразимое впечатление.

IV. *Фантазия или наблюдательность как элементы первых творческих попыток.*

– Лет с десяти сочинял стихи. Сочинил нечто вроде оды на именины архиерея и декламировал перед ним во время торжественного приема. Был влюблен в особу лет 17 и писал любовные стихи, но тайно.

V. *Под влиянием какого писателя (отечественного или иностранного) создано первое произведение?*

– Гоголь.

VII. *Первое написанное и оставшееся в рукописи произведение. Когда? Какое?*

² Там же. С. 151. (На самом деле не «половинная» премия в 500 руб., а «поощрительная» в 300 руб. – *Ред.*)

³ *Протопопов М.* Бодрый талант. Повести и рассказы И. Н. Потапенка. Одиннадцать томов // *Протопопов М.* Критические статьи. М., 1902. С. 300.

⁴ Там же. С. 309, 310–311.

⁵ См.: Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей / Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911. С. 67–68.

– В бытность в Одесской семинарии написал роман. Содержания не помню, но помню, что в нем семинарское начальство было выставлено в дурном виде. Послал в редакцию «Дела» (Благосветлова). Ответа, разумеется, не получил. Был вызван ректором, который доброжелательно поведал, что будто редакция «Дела» сообщила ему о том, что я в романе браню начальство, отечески журил и уговаривал не заниматься такими пустяками. Впоследствии истина выяснилась в том смысле, что ректору о романе донес его племянник, мой товарищ по классу, и таким образом редакция «Дела» в моих глазах была реабилитирована.

VIII. *Первое отправленное для напечатания произведение. Когда, какое, куда и кому?*

– Отчасти ответил уже в предыдущем пункте. Живя в Петербурге, уже студентом, послал рассказ в стихах и прозе в редакцию «Маляра» – полуюмористический журнал, под редакцией Божина. Божин лично дал ответ, что проза у меня лучше, чем стихи, что следует работать, но печатать рано.

X. *Возвращенные редакциями или издателями рукописи. Кем и какие?*

– Смотри выше.

XI. *Первое напечатанное произведение. Когда, кем и где?*

– В газете Берса (кажется, в «Русской правде») рассказ «Два дня», вошедший потом в том «Записки старого студента», приблизительно в 1873 году.

XII. *Было ли первое напечатанное произведение прочитано близким людям? Их нравственное, критическое или практическое влияние.*

– Никогда не читал близким своих рукописей. Стеснялся и таил.

XIII. *Изменения или сокращения, сделанные в рукописи по требованию редактора или издателя.*

– Не было.

XIV. *Самовольное исправление, добавление, сокращение редактором или издателем первоначальной рукописи.*

– Не было.

XV. *Опечатки: а) искажающие смысл произведения и б) буквенные.*

– Не помню.

XVI. *Цензурные препятствия к напечатанию; изменения и искажения текста. Какие?*

– С цензурой часто приходилось иметь дело. Помню, цензор (кажется, Кюнер), когда «Северный вестник» представил ему мой рассказ «Шестеро», очень хвалил его, но пропустить его для подцензурного журнала отказался и посоветовал поместить в бесцензурной «Русской мысли», что я и сделал.

XVII. *Даром ли было отдано для напечатания первое произведение или за оттиски (или экземпляры). В каком количестве?*

– Просто было дано без всяких условий, лишь бы напечатали. Но был уплачен гонорар.

XVIII. *Первый гонорар. Со строки, с листа или полностью за всю рукопись?*

– Со строки, почему – не помню. Получил 50 руб. с чем-то.

XIX. *Неисправность в платежах издателя или редактора. Вследствие недобросовестности или несостоятельности?*

– Довольно долго гонорар был задержан вследствие прекращения газеты, но все же был уплачен.

XX. *Отношение родственников и посторонних лиц к первому напечатанному произведению.*

– Покойный Арс. Ив. Введенский⁶ почему-то очень хвалил рассказ «Два дня» и читал на одной из своих пятниц.

XXI. *Напечатано первое произведение под своей фамилией или под псевдонимом? Каким?*

⁶ Введенский Арсений Иванович (1844–1909) – литературный критик, библиограф, историк литературы. Сын дьякона.

– Под псевдонимом, а каким, не помню.

XXII. *Первые критические отзывы. Где и кем?*

– Не помню.

XXV. *Борьба за существование в начале литературной деятельности и теперешнее положение.*

– Никогда не прекращалась.

На действительной службе

Повесть

I

Среди встречающей публики, наполнявшей огромный сараеобразный зал железнодорожного вокзала, резко выделялись две фигуры. Обе они принадлежали к духовному сословию и были одеты в длинные рясы. Но на этом кончалось сходство между ними, и, взглядевшись в них повнимательнее, сейчас же можно было догадаться, что это люди разных положений. Тот, что стоял у круглого афишного столба и внимательно читал распределение поездов юго-западных железных дорог, по всем признакам, принадлежал к духовной аристократии губернского города. На нем была темно-зеленая атласная ряса; на груди его красовался большой крест на массивной цепи и еще что-то на цветной ленте. Полные щеки его, молочного цвета, окаймлялись седоватой растительностью, которая внизу сгущалась и впадала в широкую тщательно расчесанную бороду. На руках были черные перчатки, на голове – темно-серая мягкая пуховая шляпа. От времени до времени он вынимал из-под рясы массивные золотые часы и, по-видимому, был недоволен, что время идет не так скоро, как ему хотелось.

Другой помещался на скамейке в самом углу, прижатый огромным узлом, принадлежавшим какому-то толстому мещанину, который сидел рядом. Прежде всего бросалась в глаза его совершенно седая, очень длинная борода, которая казалась еще длиннее оттого, что он склонил голову, так что борода касалась колен. На коленях лежали руки с длинными, неуклюжими пальцами и с выпуклыми синими жилами. Полы серой порыжевшей от времени рясы раздвинулись, и из-за них выглядывали большие сапоги из грубой юхты⁷. Старик был тонок, сухощав и сильно сутуловат. Бледное лицо его казалось мертвенным благодаря тому, что он закрыл глаза и дремал. Но иногда шум, происходивший на платформе, заставлял его просыпаться; он с некоторым недоумением обводил взором многочисленную публику, к которой, по-видимому, не привык, и потом, как бы сообразив, в чем дело, опять погружался в дремоту.

Духовному лицу в атласной рясе надоело наконец изучать расписание поездов; оно уловило минуту, когда сидевший в серой рясе открыл глаза, и подошло к нему. Последний тотчас же быстро схватился, встал и по возможности выпрямился.

– Смотрю, смотрю, знакомое лицо... и не могу определить, где я мог вас видеть! – сказала лицо в атласной рясе приятным баритоном с растяжкой.

– А я так сию минуту узнал вас, отец ректор!.. Я, ежели изволите помнить, диакон села Устимьевки, Игнатий Обновленский.

Ректор выразил удовольствие, смешанное с удивлением.

– Обновленский... Обновленский... Ваш сын... Да, да, да, да! Так вы отец Кирилла Обновленского?! Очень приятно, очень приятно!.. Хороший был ученик, образцовый!.. Знаете, ведь мы за него получили благодарность от академии... Как же, как же!.. Очень, очень приятно! Что же он теперь? Кончил?

Дьякон Игнатий Обновленский был видимо обрадован одобрением столь важного лица, как ректор семинарии. В его больших глазах заиграли искры, и самые глаза увлажнились. Он готов был плакать от восторга всякий раз, когда столь лестно отзывались о его младшем сыне Кирилле.

⁷ Юфть (мест.: юхта) – сорт мягкой кожи. Все примечания составлены редактором наст. изд.

– Ах, ваше высокопреподобие, он кончил... первым магистрантом кончил... Да, первым магистрантом.

– Ну, и что же, оставлен при академии? Первых всегда оставляют.

– Нет, не оставлен!

И голос дьякона вдруг дрогнул и понизился. Старик был смущен. Как же, в самом деле, первых всегда оставляют, а Кирилл не оставлен?! Почему же он не оставлен? Писал ведь он: «Дорогие, – говорит, – мои старики, еду я к вам и больше уже от вас не уеду...» – значит, не оставлен...

– Гм... Это странно!.. – сказал отец ректор. – Признаюсь, даже не понимаю.

У дьякона задрожала голова; сердце его сжалось не то от какого-то непонятного дурного предчувствия, не то от стыда перед отцом ректором за то, что его сын, за которого семинария даже благодарность получила, все-таки не оправдал полностью всех надежд.

– И я не понимаю!.. – почти шепотом сказал он. Что-то стояло у него в горле и мешало говорить.

– А я вот племянника жду. Тоже академик. Вместе с вашим Кириллом в академию отправили. Сюда и назначен, в нашу семинарию, – сказал отец ректор, как бы желая загладить впечатление неприятного разговора.

Но дьякон уже не слушал его. Глухой звон, доносившийся с платформы, свидетельствовал, что поезд уже близко. Он засуетился, весь задвигался и ринулся к двери, куда хлынула встречающая публика. Через минуту он был на платформе и с трепетным замиранием сердца следил глазами за приближавшимся поездом. Он внимательно присматривался, не увидит ли издали дорогую голову своего сына где-нибудь в окне вагона, но, разумеется, ничего не видел. Поезд с торжественным гудением вкатился под высокую стеклянную крышу вокзала. Дьякон застыл на месте и с растерянным видом смотрел разом на выходы из всех вагонов. В глазах его все путалось и смешивалось. Казалось, он видел всех выходящих и суетливо снующих по платформе с чемоданами и узлами, слышал разговоры, приветствия, поцелуи, но в то же время все это для него было точно во сне. Ведь это вон там отец ректор облобызал молодого человека с дорожной сумкой, одетой через плечо, а потом пожал руку другому молодому человеку, высокому, бледному, с длинными русыми волосами, висевшими из-под шляпы, с небольшими усиками и бородкой клином. Вот они идут сюда. Высокий молодой человек даже не идет, а почти бежит, а у него, у дьякона, сердце так вот и замирает, голова кружится и ноги дрожат, и уж совсем не понимает он, что это такое делается. Он сжимает в своих объятиях Кирилла и не хочет отпустить его, целует его в голову и не хочет перестать, словно это не свидание, а разлука. Кирилл силой вырвался от старика.

– Ну, ладно, ладно, поцелуемся еще!.. – сказал он крепким басовитым голосом. – Там багажец есть, надо получить.

Старик покорно последовал за ним. Он то забегал вперед, то отставал, попадал не в ту дверь, тащил чужой чемодан, но ничего не расспрашивал, а только жадно глядел на высокую фигуру своего сына, на его походку, на длинные ноги, на черный казенный сюртук и от всего приходил в умиление.

Когда они получили чемодан и сели на извозчика, Кирилл спросил:

– А Мурка здорова?

– Марья Гавриловна? Слава тебе Господи! Ждет тебя!..

– Что же она встречать не пришла?

– Желала, очень желала. Да матушка, Анна Николаевна, не дозволила. «Девице, – говорит, – неприлично».

– Ну а мать, сестра, брат Назар? здравствуют?

– Кланяются. Назар в священники просился, да отказал владыка. «Еще, – говорит, – послужи».

А сам дьякон в это время подумал: «Сперва о Мурке своей спросил, а потом о матери. Непорядок».

– Куда держать прикажете? – спросил извозчик, которому забыли сказать это.

– В соборный дом, в соборный дом! – поспешно сказал дьякон и прибавил, обращаясь к сыну: – Мы к отцу Гавриилу заедем, там и лошади мои стоят... Покушаем, да и в Устимьевку, к вечеру дома будем.

– Нет, нет... переночевать надо... дело есть: надобно побывать у преосвященного!

Хотел старик спросить «зачем», да воздержался. А между тем в голове его копошились неприятные мысли: «Первым магистрантом кончил, и к преосвященному. Зачем? – думал он. – К преосвященному ходит наш брат – простой человек. Ну, там, во священника либо в диакона просится. А то магистрант, первый магистрант... Чего ему?». Но, подавленный восторгом по поводу того, что горячо любимый сын наконец приехал и сидит рядом с ним на дрожках, старик молчал, отложив свои вопросы на после. А сын не догадывался о его думах. Он смотрел по сторонам и удивлялся разным переменам в губернском городе за последние два года. Строят новую церковь, замостили Вокзальную улицу, немало новых домов выросло.

– Растет наша губерния! – заметил он вслух. – И соборный дом заново окрашен!

Двухэтажный соборный дом, к которому они подъехали, был окрашен в темно-коричневый цвет. Неподалеку от него, на большой площади, огороженной железной решеткой, возвышался собор, здание большое, но неуклюжее и угловатое. Они расплатились с извозчиком и вошли в калитку, а потом поднялись во второй этаж. Отец Гавриил Фортификантов занимал весьма приличную и просторную квартиру в соборном доме. По чину он был третьим священником, и так как обыватели губернского города отличались богобоязненностью, то доход у него был хороший. Гости поднялись по узкой деревянной лестнице, застланной парусиновой дорожкой, прошли обширный стеклянный коридор и вступили в покои отца Гавриила Фортификантова. Уже из передней можно было заметить, что в зале происходит некоторое движение, но солидное, лишённое всякой суетливости. На пороге их встретил сам отец Гавриил и сперва осенил Кирилла благословением, а потом уже обнял и трижды облобызал. Тот же час из гостиной вышла солидная матушка, Анна Николаевна, в светло-голубом капоте, с наколкой на голове; она тоже поцеловалась с Кириллом. В этом доме говорили ему «ты» и обращались, как с сыном. Уже со второго богословского класса он считался женихом Марьи Гавриловны. Конечно, такое доверие к сыну бедного сельского дьякона объяснялось особенными успехами Кирилла в науках. Уже тогда было известно, что он поедет в академию.

Сели. Разговор вертелся на подробностях путешествия и некоторых городских новостях. Было уже часов одиннадцать – матушка пригласила к завтраку.

– А где же Мура? – спросил Кирилл. – Марья Гавриловна? – поправился он, вспомнив, что при родителях он никогда еще так не называл ее.

– Она одевается! – сказала матушка, но Мура была одета. Матушка просто «выдерживала» ее, считая, что девице неприлично выбегать навстречу мужчине. Положим, он ее жених, но ведь два года они не видались. Мало ли какие могли произойти перемены?

«Когда же отец Гавриил начнет расспрашивать его?» – трепетно думал дьякон. Он сильно рассчитывал на эти расспросы, сам же не решался начать их. Он просто-таки побаивался сына, сознавая свое дьяконское ничтожество перед его магистрантством.

В столовую вошла Марья Гавриловна. Она поздоровалась с Кириллом по-дружески, но чинно и сдержанно. Кирилл нашел, что она возмужала и потолстела. У нее было довольно обыкновенное круглое лицо с румяными полными щеками и живыми карими глазами. Густые черные волосы, тщательно причесанные, выростали в длинную, толстую косу, спускавшуюся ниже пояса. Ее чинные манеры очевидно были неискренни. Она вся зарделась и от волнения молчала. Ей хотелось прижаться к своему любимцу, которого она ждала с таким нетерпением и теперь находила прекрасным.

– Так вот оно как, Кирилл Игнатъевич. Ты первый магистрант духовной академии! Честь и слава тебе! – промолвил отец Гавриил отчасти торжествующим тоном, но в то же время и с оттенком легкой шутки.

У дьякона дрогнуло сердце: «Сейчас он объяснится», – сообразил он и вследствие волнения начал есть с преувеличенным аппетитом. Мура пристально взглянула на приезжего и со своей стороны подумала: «Какой он теперь, должно быть, ученый!».

– Да, птица важная! – шутя, ответил Кирилл.

– А еще бы не важная? Большой ход тебе будет, очень большой ход!..

«Вот, вот, начинается», – думал дьякон.

Кирилл промолчал на это. Но отец Гавриил решил исчерпать всю тему и продолжал:

– Но как же ты без всякого назначения? Разве имеешь что-либо особенное?

– Ничего не имею, отец Гавриил. Вот весь перед вами!

«Ага, ага, так и есть! Чудеса какие-то, истинно чудеса!» – размышлял дьякон и, боясь, чтобы сын не прочитал этих мыслей на его лице, смотрел прямо в тарелку.

– Это удивительно! Первый раз слышу, чтобы первый магистрант, и так вот... Ничего даже не предложили... Удивительно!..

– Как не предложили? Оставляли при академии – сам отказался!..

После этих слов все разом, и отец Гавриил, и матушка, и Мура, и даже дьякон, положили вилки и ножи на стол.

– Вот оно что! – пробормотал дьякон, но тут же испугался. Может быть, этого не следовало говорить? Может быть, Кириллу это неприятно, обидно?

– При духовной академии... И ты отказался! Да ты прямо безумец! – воскликнул отец Гавриил.

– Именно, безумец! – подтвердила матушка.

Мура ничего не сказала. У нее только сжалось сердце от сожаления: «В столице жили бы?» – мелькнуло у нее в голове. Жизнь в столице представлялась ей недостижимой мечтой.

– Что ж мне делать, если я люблю вас всех, люблю свой теплый юг, деревню, в которой вырос, и мужичка, который выкормил меня, и моих близких! – серьезно и вдумчиво произнес Кирилл. – Вот я и приехал к вам. Любите, коли мил вам! – прибавил он.

Все переглянулись, а отец Гавриил сказал:

– Это похвально. Любовь к родине и к ближнему – это превосходно. Но зачем же отказываться от того, что приобретено трудом и талантом? Ты мог приехать к нам, повидаться с нами и вновь уехать. И деревню увидеть и прочее. Но отказываться от профессорства, да еще где – в столичной духовной академии! – это прямо преступно.

– Преступно! – повторила матушка с величайшей экспрессией. – Именно преступно!

– И при чем тут деревня! – продолжал отец Гавриил. – Ведь все равно, не будешь же ты жить в деревне?

– Я буду жить в деревне, – твердо и отчетливо сказал Кирилл. – Я буду сельским священником!

Эти слова поразили всех точно трубный звук. В первое мгновение никто не поверил. «Шутит!» – мелькнуло у всех в голове, и все подняли взоры на Кирилла. Кирилл сидел на своем месте, серьезный, сосредоточенный и бледный. В глазах его светилась твердая воля и бесповоротное решение. Все поняли, что это не шутка.

Отец Гавриил покраснел и, шумно отодвинувшись от стола вместе со стулом, промолвил чуть не гневно:

– Да ты приехал издеваться над нами!

– Я? Над вами? – с глубокой и искренней скорбью в голосе спросил Кирилл.

Матушка быстро поднялась с места и, приняв гордую осанку человека, который оскорблен в лучших своих чувствах, промолвила:

– Моя дочь не для деревни! – и затем, обратившись к Марье Гавриловне, прибавила повелительно:

– Марья, иди к себе!

Кирилл тоже поднялся и, отойдя к окну, стал вполоборота, по-видимому, расстроенный и потрясенный. Он исподлобья смотрел на свою невесту, ожидая, что она предпримет. Мура повиновалась. Она чувствовала, что у нее сейчас польются слезы, и, считая это для себя позорным, поспешно повернулась к двери и быстрыми, неровными шагами вышла. Матушка последовала за нею. Отец Гавриил сидел с красным лицом и сдвинутыми бровями. Казалось, он хотел разразиться громовой речью, но вместо этого он вытер салфеткой усы, встал, перекрестился и, даже не взглянув ни на Кирилла, ни на дьякона, последовал за женой и за дочерью.

Дьякон сидел неподвижно, опустив голову и свесив руки. Он никак не мог хорошенько взять в толк, что такое перед ним случилось. В голове его бродили отрывочные фразы: «Отец Гавриил как рассердились!.. И матушка! Первый магистрант! Сельский священник... Господи, Создатель мой!». И он боялся поднять голову, чтобы не встретиться со взорами сына.

Кирилл несколько минут простоял у окна, потом энергично зашагал по комнате, шумя стульями, которые цеплялись за его длинные ноги. Пройдясь туда и обратно и как бы убедившись, что эта прогулка не представляет никаких удобств, он остановился за спиной старика и промолвил дрожащим голосом:

– Что ж, отец, возьмем наш чемоданчик и махнем!

Дьякон вздрогнул.

– Как? Куда? Как же это? Значит, совсем, окончательно?!

– Надо так думать! – с горькой улыбкой сказал Кирилл.

– И тебе... тебе не жаль, Кирюша? – робким и мягким голосом спросил дьякон.

– Как не жаль? Жаль, больно мне, сердце разрывается... Да ведь прямо же отказали!

– Отказали! – гробовым шепотом повторил старик.

Сколько разочарования и разбитых надежд заключалось для него в этом слове! В жизни его были две гордости. Первая – это его сын, который в ученье всегда был первым и даже в духовной академии отличился, первым магистрантом кончил. Вторая гордость – это предстоящее родство с семейством отца Гавриила Фортификантова. Смел ли он, сельский дьякон, бедный, незаметный, темный, состарившийся в забвении, смел ли он мечтать о таком родстве! Мечта, однако, готова была осуществиться; он был бы принят в дом протоиерея и считался бы здесь своим человеком – и вдруг!

Он поспешно поднялся, застегнул шейную пуговицу своей поношенной ряски и с покорностью отчаяния сказал:

– Пойдем, сынок!

Они вышли в сени. Кирилл ступал твердо; у него стучало в висках и сердце билось неровно, но он знал, что иначе поступить не может. Дьякон робко и неслышно семенил ногами. Двери во все комнаты были наглухо закрыты. За ними не было слышно ни разговора, ни движения. Они уже были в стеклянном коридоре, когда дьякон спросил шепотом:

– Как же это? Не простившись? а?

– Не хотят! – глухо ответил Кирилл и, прихватив чемодан, стал спускаться по лестнице. Дьякон замешкался. Он тихонько притворил дверь в кухню, поманил пальцем горничную и шепнул ей:

– Анюта, ежели будут осведомляться... мы на Московском постоялом дворе.

Анюта посмотрела на него с изумлением и заперла за ними двери, когда он спустился вниз.

Молча дьякон заложил лошадеенок в свою таратайку, подобрал сено, свалившееся на землю церковного двора; молча они уселись и выехали на улицу.

Московский постоялый двор помещался на окраине города. Подъезжая к нему, Кирилл мог бы вспомнить, как десять-пятнадцать лет тому назад они здесь останавливались всякий раз, когда отец привозил его с каникул в семинарию. На этом обширном дворе стояла их телега, которая служила яслями для старой клячи. Обширный, довольно грязный и лишенный каких бы то ни было приспособлений «номер» остался все таким же, точно пятнадцать лет для него не проходили вовсе. Но Кириллу было не до воспоминаний. Войдя в комнату и швырнув кое-как чемодан, он зашагал из угла в угол, да так энергично, что дьякон предпочел удалиться к старому знакомому, содержателю постоялого двора, и тут же стал выкладывать ему все, что накопело у него на душе.

– Знаете что, отец дьякон! – сказал содержатель постоялого двора, человек солидной комплекции и положительных правил. – Вы не обидьтесь, что я вам скажу: у вашего сына, должно быть, что-то в голове не в порядке. Поверьте, что так!

Дьякон обиделся.

– Ну уж извините. У моего сына такая голова, что дай Бог вашему сыну такую! – сказал он не без ядовитости.

– Мой сын будет содержать постоялый двор, зачем ему такая голова? А ваш – переучился!.. Знаете, у него ум за разум зашел. Нет, вы не обижайтесь, отец дьякон, я по сочувствию говорю!

Дьякон вышел от него совершенно расстроенный и, войдя в свой номер, спросил убитым голосом:

– Завтра к преосвященному пойдешь, что ли?

Кирилл сел на протертом стуле и посмотрел на отца простым, дружеским взглядом.

– Присядьте, батюшка, потолкуем. Мы с вами еще толком и не побеседовали! – сказал он голосом, выражавшим спокойствие.

Дьякон поспешно присел на кровати, которая начала жалобно пищать под ним.

– Зачем мне теперь идти к преосвященному? – промолвил Кирилл. – Ведь чтобы сделаться священником, надобно жениться. А я других девушек не знаю, кроме Марьи Гавриловны. С нею я подружился и свыкся, и она со мной. Теперь мои мысли спутались.

– Спутались, именно спутались!.. – как эхо, повторил дьякон.

Кирилл улыбнулся.

– Нет, не то, что вы думаете. Вы считаете меня помешанным, я знаю.

– Даже и не думал... Бог с тобой! – поспешил опровергнуть дьякон. – Никогда я этого не думал!

– А я хочу только, чтобы был какой-нибудь смысл в моей жизни, вот и все. Ведь вы, батюшка, у меня неглупый человек, только бедностью забитый. Пусть никто не понимает, а вы должны понять. С малолетства я жил в деревне; деревня наша, Устимьевка, бедная. И видел я мужика, как он во тьме кромешной живет и убивается. Темнота его от бедности, батюшка, а бедность от темноты. Так одна за другую и цепляется. За бедность полюбил я его тогда еще, в детстве, только любовь эта глохла во мне, спала, потому что жил я бессознательно, шел по ветру и ничего у меня своего не было. Ну, учился я много и прилежно, с книжной премудростью познакомился, с людьми умными разговаривал, и ум мой развился. И понял я, что жить зря недостойно ума человеческого. Такое я себе правило усвоил: коли ты умом просветился, то и другого просвети, ближнего. И тогда жизнь твоя оставит след. А кого просвещать, как не темного деревенского человека? Светить надобно там, где темно, батюшка. А уж как темно там, сами знаете. И для этого самого, дорогой мой отец, я презрел карьеру и решил сделать сельским священником. Теперь скажите, батюшка, помешанный я или нет?

Дьякон сидел с поникшей головой. Наконец-то он дождался объяснения от сына, и каждое слово из этой маленькой речи запало в его душу. Не вполне понимал он то, что говорил сын, но чувствовал, что в словах его есть нечто хорошее, справедливое. И радостно было ему,

что сын так правдиво рассуждает, и жалко расстаться с мечтой о возвышении их незаметного рода, и стыдно за то, что он осмелился заподозрить Кирилла в умственном помрачении. Все эти ощущения смешались в его сердце, и он молчал. Кирилл встал и подошел к нему близко.

– Что ж, батюшка, одобряете или нет?

Дьякон порывисто обнял его грудь обеими руками и, припав к нему головой, промолвил дрожащим голосом:

– Ты правдивый человек... По-евангельски, по-евангельски!..

Кирилл поцеловал его в седую голову, и лицо его озарилось радостной улыбкой.

– Вот это хорошо, батюшка, что вы меня понимаете!.. Легче жить на свете, когда кто-нибудь понимает тебя. Я ведь знаю, что мать и все родные накинута на меня. А на вас я надеялся.

– Да, да! Но вот Мура-то твоя как? Ежели ты любишь, свыкся, говоришь, так это горько.

Кирилл молча стал ходить по комнате, а дьякон, посидев еще с минуту, вышел, чтобы не мешать ему. Он постоял на крыльчке, подумал, и вдруг на лице его появилось выражение решимости. Он вернулся в сени, взял свою шапку и, крадучись, вышел со двора. Тут он ускорил шаги и почти бегом направился к соборному дому.

II

Здесь он застал семейный совет, которому предшествовали очень важные обстоятельства.

Мура, выйдя из столовой, сидела в своей комнате в трепетном ожидании, что из этого выйдет. Когда же к ней вошла матушка и объявила, что Кирилл с отцом ушли и произошел окончательный разрыв, она разрыдалась и объявила, что ни за кого больше замуж не пойдет.

– Глупости! Не пойдешь же ты жить в деревню! – возразила матушка.

– Мне все равно; я люблю его и буду жить там, где он! И вы это напрасно, напрасно... Я прямо сбегу к нему!.. Скандал вам сделаю.

Марья Гавриловна, вообще скромная и мягкая, иногда, а именно в решительных случаях, проявляла характер матушки, который ей достался, конечно, по наследству. Отец Гавриил в таких случаях удалялся в кабинет и запирался в клетку свою, предоставляя кося наскань на камень. И если бы это был обыкновенный житейский случай, то и тут произошло бы то же самое. Но случай был особого рода, поэтому матушка не только смирила свой характер перед дочерью, а даже признала главенство отца Гавриила и предложила ему высказаться по этому важному предмету. Они принялись вдвоем действовать на Муру добрым словом.

– Знаешь ли ты, что такое деревня и какая там жизнь? – говорил отец Гавриил. – Глушь, живого человека нет, одни мужики. Смертельная тоска и скука. Мужики – народ грубый, необразованный, грязный, а тебе с ними придется компанию водить. Зимой вьюга, снегом все занесено. Летом зной.

– Мне все равно, я люблю его! – твердо отвечала Мура.

Отец Гавриил, как бы убедившись в тщетности своей попытки, замолчал и стал придумывать более действительный довод.

– И главное, ты вот что подумай! – заговорила, в свою очередь, матушка. – Ну, ты его любишь. Хорошо. Да он-то тебя любит ли? По-моему – не любит. Сама посуди: когда человек любит, то делает для своей невесты все самое приятное. Так я говорю, отец Гавриил?

– Именно так! – подтвердил отец Гавриил, вспомнив при этом, что в свое время и он старался сделать своей невесте, ныне матушке, приятное.

– Ну а он видишь как поступает! Зарубил себе там что-то в голове и ради этой глупости готов тебя закопать в могилу. Нет, не любит он тебя.

– Ах, нет, матушка, любит, ей-богу, любит! – с ударением произнес четвертый голос, и, оглянувшись на дверь, все поняли, что это не кто иной, как дьякон, вошедший незаметно, вроде привидения. Он на этот раз даже не казался робким и забитым; во всех его движениях видна была решимость. Он приложил правую руку к сердцу и с сильным ударением произнес:

– Отец Гавриил! Ах, матушка! Послушайте, ради Господа Бога! Сын мне сказал: «Э, зачем, – говорит, – мне теперь идти к преосвященному, когда мне отказали! Все одно, – говорит, – жениться я не могу, потому ни одной женщины на свете не знаю и знать не хочу, кроме как Мура. И теперь, – говорит, – все мои мысли спутались». Отец Гавриил! Матушка!

И дьякон заплакал. Мура, услышав из его уст такое трогательное признание, опять разрыдалась, а отец Гавриил с матушкой потупились и молчали.

– Чем же он объясняет? – спросила после молчания матушка, не глядя на него.

– Желает поступать по-евангельски!

На лице матушки выразилось крайнее недоумение.

– Отец Гавриил, разве в Евангелии это сказано, чтобы непременно в деревне жить?

Отец Гавриил не ответил на этот не совсем удачный вопрос. Он сказал:

– Мое мнение таково: Мария наша – девица взрослая. Ей известно, что ее ожидает. Ежели любовь ее так сильна, что она на это решается, предоставим... А ее дело впоследствии мужа образумить! Вот. Я так полагаю, что он потом образумится. А в город всегда перевести можно. Вот. А впрочем, решай сама! – обратился он к матушке.

Дьякон подошел к нему и поцеловал его в руку и в лоб и, повернувшись к матушке, сказал:

– Матушка, позвольте и вам...

– Только я не буду виновата! – промолвила матушка и протянула ему руку, которую он с большими чувствами облобызал. Мура бросилась к ней, и произошла трогательная сцена общих объятий.

Дьякон рысью побежал на постоялый двор и через полчаса притащил Кирилла к Фортификантовым. Но прежде, чем окончательно получить титул жениха, Кириллу пришлось выдержать получасовое собеседование с отцом Гавриилом, потом с матушкой. Сущность этих бесед сводилась к убеждению образумиться. Кирилл был в благодушном настроении и не возражал. Он даже нашел возможным пообещать, что ежели опыт укажет ему что-либо лучшее, то он образумится. Наконец ему было дозволено остаться с Мурой.

– Мура, – сказал он, – я должен объяснить тебе...

– Не объясняй, Кирилл, ничего я понимать не хочу... Я тебя люблю, вот и все...

И она прижалась к нему с такой доверчивостью, что он больше не пытался объяснять. Вечером они гуляли вдвоем. Кирилл рассказывал ей про роскошные дворцы, про мосты, про музеи и театры.

– Хорошо там! – несмело восклицала Мура, боясь, чтобы он не принял это за упрек.

– Хорошо! Только жизни там нет. Не живут там, а только время проводят. Жизнь там сгорает в пламени деловитости и развлечений. По своей воле я бы там и года не прожил!

«А я бы век прожила!» – думала про себя Мура.

Наутро Кирилл проснулся рано. Преосвященный принимал с восьми часов. Одевшись в казенную черную пару, которая лежала на нем неуклюже, и напившись чаю, когда в доме протоиерея все еще спали, он вышел. Дьякон не спал и проводил его до ворот. Он даже хотел напутствовать его благословением, потому что визит к преосвященному представлялся ему чем-то необычайным, даже потрясающим, с чем бывают связаны мысли другого порядка. Но это как-то не вышло. Дьякон, однако же, остановил Кирилла у ворот и сказал:

– Конечно, преосвященный к тебе отнесется с уважением, потому что ты – ученый человек и с отличием. Однако ж соблюдай почтительность... И вот еще: ежели будет прилично

и увидишь с его стороны расположение, упомяни о брате твоём, Назаре. Не будет ли, мол, милости насчет священства?

Кирилл застал в приемной у архиерея целую кучу народа, все больше сельского духовенства в поношенных рясах и кафтанах. Одни имели вид благолепный, как вот эти двое довольно полных отцов, просящих разрешения поменяться местами. Другие со страхом и трепетом ожидали ссылки в монастырь за неодобрительную жизнь. Попадались и женщины с заплаканными глазами, очевидно, вдовы духовных лиц, ходатайствующие о пенсии или о том, чтобы им разрешили жить в сторожке той церкви, при которой их мужья продьячили тридцать-сорок лет. Магистранта духовной академии Кирилла Обновленского сейчас же впустили к архиерею, а толпа осталась по-прежнему ждать. Владыка принял его дружески. Благодарность, которую получила семинария за Обновленского, коснулась и его.

– Знаю, знаю, осведомлен. Отец ректор академии писал мне. Надеялись на тебя, а ты возьми, да и откажись. По болезни, гм!.. Какая же тебе болезнь приключилась? На вид ты здоров.

Преосвященный был очень стар, но отличался бодростью и любил побеседовать. Совершенно седая борода его постоянно тряслась. Он был высокого роста и довольно полн. Лицо у него было простое и незлобивое, и сам он был добродушный человек, но любил показать, что строг и держит епархию в ежовых рукавицах. От этого получалось такое противоречие: все знали и говорили, что преосвященный строг, даже очень строг, но в епархии не набралось бы больше десятка наказанных. Покричит, покричит, да и отправит домой с миром. Кирилл сел на указанное самим преосвященным место и сказал:

– Я совершенно здоров, ваше преосвященство. Ежели я выставил причиной моего отказа болезнь, то это лишь ради формальности.

– Что-то не пойму! Говори-ка ясней, мой сын!

– Да, ваше преосвященство, я именно для того и обеспокоил вас своим визитом, чтобы высказать вам свои намерения. Прошу вас, дайте мне место сельского священника!

– Как? Что такое? Ты окончил академию первым магистрантом и хочешь идти в село?

Это было естественно, что преосвященный изумился. Подобная просьба встречалась первый раз в его жизни. Обыкновенно академики хлопотали у него о самых лучших местах, всегда норовили попасть в собор, или уж если и соглашались в другую городскую церковь, то непременно настоятелями.

– Не понимаю, объясни, объясни! – прибавил преосвященный и с большим любопытством устремил на него взоры.

– Хочу послужить меньшому брату, темному человеку, единому от малых сих, – вдумчиво произнес Кирилл.

– Дельно, дельно! – сказал архиерей. – Только не понимаю, как это ты решился.

– Город меня не соблазняет, доходы меня не занимают! – продолжал Кирилл. – Сердце мое лежит к селу, где я провел мое детство.

– Это весьма дельно! Да благословит тебя Бог! – в восхищении произнес архиерей. – Я буду ставить тебя в пример другим. – Он поднялся, подошел к Кириллу и поцеловал его в лоб.

– Но какой приход я тебе дам? У меня имеются лишь бедные приходы, а все лучшие заняты. Ты же достоин самого лучшего прихода.

– Нет, нет, – возразил Кирилл, – мне этого не надо. Мне такой приход дайте, чтобы я мог безбедно существовать с семейством.

– Да благословит тебя Бог, да благословит! – повторил преосвященный, будучи совершенно растроган бескорыстием молодого человека. У него явилось желание тут же сделать ему какую-нибудь приятность, отличить его чем-нибудь.

– У тебя есть брат – диакон Назар. Скажи ему, чтобы приехал ко мне, я сделаю его священником и дам ему хорошее место.

Кирилл поклонился, а архиерей продолжал:

– Иди с Богом. Избери себе жену, а там и к сану иерейскому готовься. Место я тебе назначу.

Он благословил молодого человека, обнял его и прибавил:

– А все-таки жаль, что наш город тебя лишается. Ты был бы хорошим проповедником!.. Я помню, как ты еще в бытность в семинарии хорошо по гомилетике шел, помню, помню! Так скажи брату – пусть приезжает!

Кирилл вышел от архиерея в радостном настроении. Первое, что его радовало, это то, что старик, по-видимому, понял его. Приятно было также обрадовать отца и Назара и всю семью известием об архиерейской милости. Публика, наполнявшая архиерейскую приемную, пропустила его почтительно; все глядели на него с завистью. Все уже знали, что он – первый магистрант, и думали: «Счастливый, сейчас получит лучшее место в епархии. Дает же Бог людям счастье! И какой молодой, почти мальчишка!..».

В архиерейском дворе Кирилл встретил отца ректора с племянником. Евгений Андреевич Межов – так звали ректорского племянника – был одет очень парадно. Его черный сюртук был уже очевидно не казенный, а сшитый по заказу, сидел хорошо и был сделан из тонкого сукна. И шляпа на нем была новая, котелок с широкой синей лентой и с шнурком, прикрепленным к пуговице пальто. На руках черные перчатки, штиблеты новые, с лакированными носками. Держался он ровно и вообще смотрел солидным франтом. Ради торжественного случая он сбрил свои белобрысые бакенбарды и пригладил брильянтином небольшие усики. Отец ректор был в черной шелковой рясе с регалиями на груди, в камиллавке и с палкой. У ворот стоял семинарский экипаж. Было очевидно, что ректор привез своего племянника для представления архиерею.

– Представлялся? – спросил Межов на ходу, торопясь за своим дядюшкой.

– Да, – кратко ответил Кирилл.

– А я вот хлопотать приехал с дядюшкой!.. Ты знаешь, инспектора нашего перевели... Так я хлопочу.

– Так скоро? – удивился Кирилл. Это было тем более удивительно, что Межов кончил курс в академии неважно и не имел основания даже рассчитывать на магистерство.

– Ну что ж, дядюшка хлопочет... Видишь, инспектором меня не утвердят, а только исправляющим должность. Но ведь это все равно... Жалованье идет полностью.

– Конечно, конечно, – рассеянно сказал Кирилл.

– И квартира, и даже отопление. Ведь это не дурно?

– Не дурно!..

Тут к ним подошел отец ректор.

– Что же вы думаете с собой делать, Обновленский? – спросил он с каким-то не то участием, не то неодобрением.

Кирилл не имел никакого желания откровенничать. Ректора он никогда не любил за его потайной, неискренний характер.

– Право, не знаю еще!.. Вот съезжу к родным, посоветуюсь.

– Так, так... Это следует... Пойдем, однако, Евгений, замешкались!

Кирилл поклонился и разошелся с ними.

«Как, однако, легко преуспевает человек при добром желании!» – подумал он, вспомнив о малых талантах молодого Межова.

Ш

Таратайка⁸ дьякона Игнатия Обновленского была лишена рессор; на каждой кочке ее подбрасывало; треск от нее раздавался версты на две кругом. Все ее составные части обладали способностью издавать особенные, характерные звуки. Шкворень⁹, соединявший передние колеса с ящиком, хрипло гудел, от времени до времени пристукивая; широкие крылья вместе со ступеньками издавали трепетный, дребезжащий звук, в котором определенно слышалась однообразная печальная нотка. Эта нотка давала тон всей музыке и слышна была далеко. Оглобли при поворотах и даже при простых движениях лошадемок круто скрипели. Вся эта симфония хорошо была известна уезду, и всякий, заслышав ее, мог с закрытыми глазами сказать, что едет устимьевский дьякон.

Они ехали уже часов пять, сопровождаемые густым облаком серой пыли, которая – раз ее потревожат – долго неподвижно стоит в воздухе, свидетельствуя всякому, что здесь проехали. Путешественники были совершенно серы от этой пыли. Дьякон дремал, пошатываясь из стороны в сторону, опрокидываясь и поспешно крестясь, когда повозку внезапно подбрасывало. Кирилл глядел по сторонам и вспоминал. По обе стороны широкой, извилистой дороги желтела подпаленная солнцем и поспевающая рожь. Вдали чернели баштаны¹⁰, еще недавно только взошедшие. Кое-где вырисовывались хутора из десятка землянок с широкими огородами, с высоко торчащим журавлем у колодца. Там чабаны подгоняли к черному корыту у колодца «шматок»¹¹ овец, казавшийся живым серым пятном на желтом фоне степи. Кругом было глубокое молчание; все живые существа попрятались в тень, ища спасения от знойных солнечных лучей.

Кирилл с каким-то грустным удивлением думал, что все это было так же два года тому назад, как будто он только вчера оставил родной уезд, да так же оно было и десять, и двадцать лет назад. Все так же серо, бледно и скучно, никакой перемены, никакого движения – ни впереди, ни назад.

– А ну, старина, подтянемся! Вон Устимьевка! – сказал Кирилл, указывая взором влево, куда сейчас должна была повернуть дорога.

Устимьевка открылась вдруг вся, с белой церковью, с жалким помещичьим садом, запущенным и наполовину высохшим от засухи и безводия, с каменным зданием кабака с черепичной крышей, открывавшим въезд в село, с тремя коротенькими мельницами, заостренными кверху, с кладбищем без зелени, холодным и неприветным. В стороне стоял помещичий дом с прогнившей дощатой крышей, с развалившейся и выцветшей штукатуркой, с развалившимися службами без крыш, с черными дырками вместо окон... Этот покинутый дом теперь ничем уже не напоминал о том, что прежде здесь жили люди со всевозможными удобствами и с полным комфортом. В общем, Устимьевка производила впечатление чего-то бедного, серого и до невозможности скучного. Свежему человеку при виде ее хотелось проехать мимо. Ее разбросанные хаты, перемешанные с землянками, пустынные гумна, колодцы с солоноватой водой не сулили усталому, измученному зноем путнику ни прохлады, ни радушия, ни покоя.

– Такая-то серота да беднота наша Устимьевка! – со вздохом промолвил дьякон.

Но в глазах Кирилла светилась радость.

⁸ Таратайка – двухколесная повозка.

⁹ Шкворень – стержень от задней части повозки, вставляемый в ось передка и позволяющий передку, вращаясь на этом стержне, производить повороты.

¹⁰ Баштан – то же, что бахча.

¹¹ Шматок – кусок, ломоть, лоскут, сгусток.

– Родная беднота, батюшка! Ни на что ее не променяю! – сказал он и действительно ощущал в груди радостное чувство. Он мысленно сравнивал себя с пленником, возвращающимся на родину, и чужими казались ему и столица с ее непрерывным шумом, с которым он никогда не мог свыкнуться, и казенная наука, не сумевшая привязать его к себе, и все, что осталось позади, за исключением Муры, которую он почему-то приурочивал к далекому прошлому, а следовательно, и к Устимьевке.

– Оно конечно! – сказал дьякон и, стряхнув с себя сонливость, ударил концом вожжей по лошаденкам. Лошади, ввиду приближения дома, и без того бежали быстрее, мелко семеня ногами. Вот они минули кабак и подъехали к церкви. Дьякон снял шляпу и перекрестился.

– Приехали! – выразительно сказал он. – Благодарение Богу! А вон и церковь. А вон наш домишко. Все в старом живем. Отец Агафон, настоятель-то, уж двадцать лет собирается церковный построить, да все откладывает... Теснимся очень!..

Проходившие по деревенской улице мужики, завидев или, лучше сказать, заслышав дьяконскую таратайку, обычным движением снимали шапку, но, приглядевшись, что с дьяконом сидит какая-то новая личность, пристально всматривались, и если узнавали Кирилла, то приветливо улыбались ему. Одна баба не выдержала и, указывая пальцем на гостя, крикнула от всего сердца:

– Да это ж Кирюша приехал! Вот!

Кирилл снял шляпу и низко поклонился ей. Ему было приятно, что здесь называют его тем самым именем, которым называли пятнадцать лет назад. Наконец они подъехали к дьяконскому дому. Это была обыкновенная глиняная мужицкая хата, но окна в ней были побольше размеров и содержалась она чище. Хата стояла боком к улице; фасад ее выходил во двор. Ворота были настежь раскрыты – они въехали. Маленькие зеленые ставни окон были закрыты. Три собаки извивались около таратайки, любовно вертя хвостами; но, когда Кирилл соскочил с повозки, они вдруг выразили недоумение и стали подозрительно ворчать.

– Начинается плохо! – шутя, сказал Кирилл. – Собаки меня не одобряют!

Дьякон не сказал ни слова, а только прикрикнул на собак. Он знал, что в шутке Кирилла есть смысл, и был уверен, что скоро разыграется потрясающая сцена.

Дверь из хаты с шумом раскрылась, и оттуда разом высыпала вся родня Кирилла. Он поцеловал высокую женщину с морщинистым и таким же бледным, как у него, лицом, тонкую и стройную. Лицо это было строго и, пожалуй, неприветливо. Это была его мать. Пятнадцатилетняя сестренка Мотя смотрела на него любопытными, веселыми глазками, но как-то дичилась и конфузилась. Семинарист Мефодий старался быть солидным и сдержанным. Ему было 17 лет. Кириллу даже показалось, что он отнесся к нему недружелюбно. Старая тетка, Анна Евграфовна, неизвестно почему плакала. Родственники целовались с ним как-то формально. Никто не спешил выразить ему свои чувства. Мефодий зачем-то вмешался в распряжку лошадей и заметил отцу, что седёлка¹² сильно трет лошади спину и что ее надо подшить войлоком.

– Господи! Весь в пыли! – звонким голосом воскликнула Мотя и, стащив с него пальто, выбежала на середину двора и принялась встряхивать его.

– Пойдем же в горницу! – сказала дьяконша. – Что мы тут на солнце стоим! Ты скоро, отец?

– Нет, нет, не дожидайтесь, идите!.. я приду!..

Дьякон лелеял в душе тайную надежду, что расспросы начнутся без него и что ему не придется быть свидетелем первого разочарования. Кирилл вошел в комнату вслед за матерью; за ним, шурша стоптанными башмаками, вошла тетка. Мотя прибежала после и сейчас же скрылась в соседнюю комнату. В углу на треугольном столике перед большим образом Божьей Матери в золоченой ризе теплилась лампада. Длинный диван, одетый в серый чехол

¹² Седёлка – часть конской упряжи, кожаная подушка под чересседельным ремнем.

из парусины, был главным украшением этой парадной комнаты, в которой принимали гостей. Перед ним стоял круглый столик, покрытый белой вязаной скатертью. На нем кувшин с букетом домашних цветов. У стены клеенчатые стулья с высокими спинками, шкаф с посудой за стеклянными дверцами и стенное зеркало, сильно наклонившееся вперед. Дьяконша чинно остановилась посреди комнаты и стала набожно креститься к образам. Потом она поцеловала лежавший на угольнике крест, дала поцеловать его Кириллу и тетке.

– Ну, садись же, Кирилл, и расскажи нам, что ты теперь есть!.. – сказала она и сама села на стул. Кирилл поместился на диване. Он чувствовал сильное смущение. Ему с первого шага поставили вопрос, на который он хотел бы ответить последним. Он молчал.

– Красавчик какой! Писаный! – произнесла наконец тетка, и это, по-видимому, ее успокоило. Она перестала плакать. Мотя стояла на пороге и с кокетливой полуулыбкой глядела на брата. Вошел Мефодий, грузно сел на стул и закурил папиросу.

– Значит, ты кончил академию? Так, что ли? – возобновила вопрос дьяконша.

– Кончил! – ответил Кирилл.

– Ну, и теперь же что? Профессором будешь?

– Нет, не буду, маменька, профессором!

– А как же? Протопопом?

– Протопопом тоже не буду!

– Неужели в монахи пойдешь? Что ж, архиереем хорошо быть... Только долго ждать.

– Не советую в монахи идти!.. Свет глазам завязать! – жалобно сказала тетушка.

– И не пойду я в монахи, архиереем не буду.

– Чем же?

– Хочу в селе жить... Сельским священником!..

– Вот тебе и на!.. Священником всякий семинарист бывает! Для чего же в академию ездил?

– Для науки, маменька!

– А наука для чего? Вон отца Порфирия, что в Кривой Балке, священника сын в прошлом году академию кончил... Так сейчас ему в уездном городе первое место дали.

– Это бывает... Да, сказать правду, я еще сам хорошенько не знаю, что будет. Ну, как же вы поживаете?

Кирилл сказал это, чтобы смягчить жестокость своего заявления. Но впечатление уже было произведено. На его вопросы отвечали вяло. Семинарист смотрел на него подозрительно и по всем признакам хотел задать ему какой-то каверзный вопрос, но не решался. Мотя в глубоком разочаровании совсем удалилась в соседнюю комнату и села у окна. И мать, и она, и семинарист, и тетка, а более всех сам дьякон давно уже сжились с мыслью, что Кирилл будет профессором семинарии, а там, пожалуй, и ректором. Но главное, никто не понимал этой странной перемены, и все объясняли ее внешними обстоятельствами. Тетка опять принялась плакать. Кириллу подали есть. Он выпил рюмку водки и сказал:

– Славная у вас рыба, хорошо пахнет!

– Из города! Своей у нас негде поймать! – ответила дьяконша. И после этого все замолчали.

Кирилл ел тоже молча. Радостное настроение, с которым он вступил в пределы Устимьевки, заметно уступало место досаде. Не ожидал он такого сухого свидания. Он понимал, что все это зависит от его сообщения. Скажи он, как все говорят, что будет профессором или протоиереем, у всех были бы радостные лица, все были бы удовлетворены. Понимал он и то, что мать затаила в душе обиду, которую он нанес всему семейству. Она сдержала себя из приличия, ради первого свидания. Но завтра она разразится потоком горьких упреков и слез. Эта женщина, много поработавшая в своей жизни и еще больше проболевшая, была раздражительна и желчна. Втолковать ей, в чем дело, заставить понять его идею – Кирилл даже не думал

пытаться. Лишенная всякого образования, почти неграмотная, она неспособна была понимать такие отвлеченные вещи, как служение ближнему на евангельской почве.

Тетка, сморкаясь от слез, вышла посмотреть, скоро ли дьякон придет. Дьяконша пошла к Моте. Кирилл методически ел рыбу, медленно отрезывал кусочки свежего огурца и разжевывал с необычайной серьезностью. Во всем чувствовалась неловкость. Мефодий, скрутив новую папиросу и закулив ее от прежней, дымил нестерпимо. Каверзный вопрос так и светился в его глазах. Он встал и, подойдя ближе к столу, сел у окна.

– Скажи, пожалуйста, Кирилл, – конфиденциальным тоном сказал он, опасливо поглядывая на дверь, куда ушла мать, – ведь это неправда?

– Что именно? – спросил Кирилл.

– Да вот это... Ты ведь не кончил академию? Тебе что-нибудь помешало?

Кирилл улыбнулся.

– Это потому, что я не иду в архиереи? Нет, брат, кончил... А не веришь, так вот тебе!

Он вынул из бокового кармана сложенную вчетверо толстую бумагу и подал ее брату. Тот развернул бумагу, взглянул на нее и порывисто бросил на стол.

– Ну, я этого не понимаю, совсем не понимаю! уж это что-то особенное! Прямо магистрантом кончил... Вот посмотрите, маменька, Мотя... Ведь он прямо магистрант! и еще первый! У нас вот инспектор был, и тот до сих пор только действительный студент. Нет, ей-богу, ну вот ей-богу, не понимаю!

– Это я тебе после объясню! – сказал Кирилл и перешел к молочной каше с сахаром, которую очень любил. Дьяконша и Мотя пришли и рассматривали диплом.

– Его надо в рамку поместить! – сказала Мотя. Она припомнила, что у настоятеля отца Агафона все дипломы – и на священство, и на набедренник, и на скуфью – висели в рамках на стене.

– Что ж, только и остается! – со вздохом заметила дьяконша.

Мефодий ходил по комнате с видом негодования и все говорил, что он не понимает. Тетка с красными веками явилась и с умилением разглядывала диплом.

– Ну что? Подкрепился? а? Накушался? – спросил вошедший дьякон. Как человек, привыкший соразмерять и взвешивать каждый свой шаг, он пытливо заглянул в лица всех присутствующих и понял, что уже – свершилось.

– Славная у вас рыбица! – сказал Кирилл и радостно взглянул на отца, как на единственного человека, который понимает и одобряет его намерения.

– Из города! – сказал дьякон. – У нас ведь в колодцах рыба не водится!

Тут дьякон понял, что теперь самое время развеселить всех приятной новостью.

– А знаешь, Ариша, – обратился он собственно к дьяконше, – Кирилл-то у преосвященного был; преосвященный целовал его и сказал: «Есть, – говорит, – у тебя брат – диакон Назар; он, – говорит, – во священники просился; так ты...».

И видя, что все домашние слушают его с напряженным любопытством, дьякон на минуту остановился для того, чтобы подразнить их.

– Или, может, не рассказывать? а?

– Ну как же?! Что же преосвященный сказал?

– А-га! любопытно! А вот возьму и не скажу!

– Ну, вот еще... Тогда зачем было начинать! – впрочем, все знали, что дьякон в конце концов расскажет, и конечно, ему самому хотелось этого больше, чем всем остальным.

– «Так ты, – говорит, – скажи ему, чтобы он приехал, и я его сделаю священником».

– Сказал?

Суровое и сухое лицо дьяконши расцвело. Священство Назара – это была заветная ее мечта. Даже академическая карьера Кирилла стушевывалась перед этим благом. Что Кирилл! Вольная птица, заберется куда-нибудь за две тысячи верст, и поминай его как звали. Назар

же – человек, привязанный к месту, коренной, куча детей у него. Он будет жить до веку на ее глазах. Да, это обидно, что младший сын ее, магистрант, идет в сельские священники, но зато какое огромное счастье, что старший сын, дьякон, будет священником, хотя бы и сельским. Мефодий радостно потирал руки; Мотя прыгала в соседней комнате, потому что ей перед Кириллом неловко было прыгать; тетушка рыдала от радости.

– Да ты правду ли говоришь? – допытывалась дьяконша.

– Ну вот, стану я лгать в таком предмете! А не веришь – спроси у Кирилла!

– Правда, правда! – сказал Кирилл. – Это мне сказал преосвященный!

– Господи, как это чудесно!

Все были взволнованы, подходили друг к другу и делились восторженными восклицаниями. Говорили о том, как будет рад Назар и его жена Луня, как они устроятся на новом месте, как отдадут старшую дочку в епархиальное училище, для чего прежде не хватало денег.

– Эх, знаешь что, старуха?! Теперь я на покой, – с умилением воскликнул дьякон. – Пора ведь мне! Посмотри, как я сгорбился!

– Куда на покой?

– А так, на покой! Подам за штат и пойдем к сыну жить! Что ж мне! Мефодий скоро семинарию кончит, а Матрену на казенный кошт возьмут...

Лицо дьяконши вдруг сделалось суровым и строгим. Его как будто передернуло.

– Этого никогда не будет! – резко сказала она.

– Ну, что ж такое?! Назар – он добрый.

– Все добрые, пока в карман, а как из кармана – так волками делаются... Знаю я. Нет уж, лучше в работницы пойду, а на шею никому не сяду.

Кирилл смотрел на бледное лицо матери и думал о том, как, должно быть, жизнь ее была несладка, если она так глубоко озлобилась. Прежде он как-то не замечал этого.

– Ну, ну, пошла уже! – добродушно сказал дьякон и махнул рукой в сторону жены. – И вот всегда так. На людей злобится, никому не верит, даже детям своим кровным не верит.

– И не верю! – выразительно подтвердила дьяконша.

– То-то, что не веришь. А я вот всем верю. Всякому созданию Божию верю. По-христиански.

– И всякий тебя обходит за то.

– А пускай его обходит. Он обходит, а я себе стою на месте. Все равно, как дуб столетний: ты его хоть миллион раз обойди, а он будет стоять нерушимо. Вот оно что!..

Эта маленькая размолвка скоро была забыта. Дьякон не настаивал на своем намерении подать «за штат». Всю жизнь он уступал Арине Евстафьевне – неужели же теперь было не уступить? Скоро опять заговорили об архиерейской милости и вновь оживились. К вечеру созрел проект об извещении Назара.

Назар состоял дьяконом в селе Чакмарах, верстах в тридцати от Устимьевки. На другой день рано утром запрягли лошадемок в таратайку. Кирилл с Мефодием выехали со двора и направились по широкой степной дороге, которая вела в Чакмары. Солнце едва поднялось, над полем носилась утренняя прохлада. Кирилл чувствовал необычайную бодрость духа. Он говорил брату о том, что на него благотворно действует деревня и что он не променяет ее ни на какие столицы.

– Что тут хорошего? Ни людей, ни развлечений. Одна скука! – возразил Мефодий. – Вообще, я тебя не понимаю, брат!

– Если бы мне сказали это, когда я был в твоём возрасте, я точно так же не понял бы! – ответил Кирилл. – Тогда я, как ты теперь, тяготел к большому городу: мне казалось, что там только жизнь, а здесь – сон и прозябание. Теперь я думаю иначе. Жизнь только здесь, здесь люди живут по существу, а там проделывают бесконечный ряд условностей. Все там условно – и приличие, и уважение, и порядочность, и ум, и чувство. На все есть кодекс, и чело-

век там – раб этого кодекса. Там можно жить только для себя, здесь можно кое-что уделить и ближнему. Возьми хоть это: жизнь в городе дорога. Чтобы жить прилично, надо все силы посвящать на добывание средств. У человека не остается ни времени, ни сил на то, чтобы быть человеком. А здесь жизнь стоит пустяки. Времени много, работай, сколько хочешь. Здесь и только здесь ты – хозяин своего времени, своих сил и способностей. Только здесь ты можешь отдать всего себя на служение ближнему!..

– Скажи, пожалуйста, этому обучают в академии? – спросил Мефодий, у которого речи брата вызвали одно только недоумение.

– Чему?

– Вот этому всему, что ты говоришь.

– Нет, – сказал Кирилл с улыбкой, – этому не обучают в академии...

Они приехали в Чакмары часам к двенадцати. Назар встретил их радушно, обнял Кирилла и с большим чувством поцеловал его. Он заметил с сожалением, что Кирилл сильно похудел.

– Зато ты все толстеешь. Пора бы остепениться! – сказал Кирилл.

Назар безнадежно махнул рукой. Это было его несчастье. Он был невероятно толст, так что подчас становился тяжел самому себе. Никакие меры не помогали. Уж он и моцион делал, и спать после обеда прекратил, и купался; он применял к себе все, что бы ему ни посоветовали. Кто-то сказал ему, что крепкий чай обладает свойством высушивать человека. Он стал пить крепкий чай денно и ночью. Посоветовали ему уксус пить – он бросил чай и принялся за уксус. Одного он не мог применить к себе – умеренности в пище. Аппетит у него был страшный, а обширная утроба помещала массу питательных веществ. Ел он буквально за пятерых и при этом выпивал не одну рюмку доброй водки. Назару было уже лет за сорок; у него было семеро детей, а жена его, Лукерья Григорьевна, называвшаяся в родственном кругу Луней, подавала надежды принести еще столько же. Эта маленькая, тоненькая, чрезвычайно подвижная и вечно веселая женщина представляла полную противоположность Назару, у которого вечно распухали ноги, а самого его постоянно тянуло к дивану. Можно считать, что собственно жена была главой дома. Назар свято исполнял одни дьяконские обязанности, но и то лишь потому, что Луне поручить это было никак невозможно. Во все прочее он, по тяжеловесности своей, не мешался, а Луния прекрасно справлялась сама и с хозяйством, и с педагогией, и даже, вдобавок ко всему, просфоры пекла. На все у нее хватало сил, никогда она не жаловалась на усталость или на то, что у нее слишком много дела. Она жила делом. Назар обожал свою жену и был просто влюблен в нее, считая ее красавицей, несмотря на то, что ее смуглое лицо было уже все в морщинах, а в волосах прежде времени появилась седина.

Мефодий побежал в загон, где возилась с телятником Луния, и сообщил радостную новость. Она бросила телятника и взволнованно полетела к мужу. Тут она изобразила печаль и разыграла для шутки маленькую сцену.

– А знаешь, Назар, Кирилл был у архиерея, и архиерей сказал ему, что, должно быть, говорит, брату твоему Назару придется в заштат подать.

– Господи помилуй! – с испугом воскликнул Назар и даже перекрестился при этом. – За что же бы это?

– А потому, говорит, больно он толст, служить не может.

Но видя глубокое отчаяние, в которое привела эта шутка легковесного Назара, Луния рассмеялась и поведала ему всю правду. Кирилл подтвердил, Назар, разумеется, пришел в неописанный восторг и готов был бы подскочить от радости, если бы ему позволил это его вес. Тотчас же он начал мечтать о предстоящих улучшениях, которые неизбежно должны последовать в его жизни, – о просторной квартире, об отдаче дочки в науку, о воспитании подрастающих детей, наконец, самая главная и самая пылкая мечта его была о том, чтобы взять отпуск, поехать

в Киев или Харьков и полечиться там у самого лучшего доктора от толщины, – все это должно было осуществиться разом, благодаря одному архиерейскому слову.

Братья пообедали вместе, а после обеда молодые люди поехали обратно в Устимьевку. Мотя выбежала им навстречу и, сев в таратайку около церкви, рассказала, что дома произошла неприятная сцена. Арина Евстафьевна всю ночь не спала. В душе ее боролись два ощущения: радость – по поводу предстоящего возвышения Назара и горе – по поводу непонятого добровольного унижения Кирилла. Встала она с головной болью и с расстроенными нервами. Дьякон сразу это понял и с утра начал заговаривать, что ему нужно побывать у отца настоятеля. Но она пристала к нему неотступно. Сначала были только вздохи и укоры общего свойства.

– У людей все идет по-людски, – говорила дьяконша, – дети вырастают и достигают толку. У иного сын еле-еле семинарию дотянул, а смотришь – сходил туда-сюда, и место в городе получил.

Тут следовали примеры: архиерейского иподиакона сын кончил по третьему разряду, а получил место в городе в кладбищенской церкви. Чакмарского священника два сына – оба из четвертого класса вышли, и ничего – в священники вылезли. А у них, у Обновленских, все не по-людски: сын удивлял всех своими успехами, кончил академию первым и будет в селе киснуть. Все будут на них пальцами показывать, дескать, вот какие вы мизерные, и академия вам не помогла, и первенство вам ни к чему. А отец, вместо того чтобы сыну внушить, на путь истины наставить, еще подхваливает, умиляется. Видно, Бог наказал ее за великие грехи.

Потом начались слезы, которые перешли в рыдания. Тетка, разумеется, тоже плакала, но тихонько, спрятавшись в темный чуланчик. Кончилось тем, что Арина Евстафьевна слегла в постель. Когда Кирилл вошел к ней в комнату, подошел к ней и поцеловал у нее руку, она встретила его с упреком:

– Вот до чего довели меня детки! В постель слегла!..

И тут она опять разрыдалась. Кирилл сел на кровати, взял ее руку и заговорил тихим, ласковым голосом:

– Вы больны, маменька, не сможете слушать меня спокойно, а то бы я вам объяснил.

– Что ты мне объяснишь? Что ты мне можешь объяснить? – трагически воскликнула Арина Евстафьевна.

– Объяснить свое решение, маменька! Вы негодуете на то, что я отказался от выгодных мест и иду в село священником. Рассудите же, маменька! Мы с вами всю жизнь были бедны, вы всю жизнь неустанно трудились, труд иссушил вас, истомил. Бедность и труд, маменька, это – наше достояние, они сделались нашими родными. Что бедно и трудится, то наше. Ну что же, я хочу послужить своему родному. Не хочу служить богатым, а бедности хочу послужить. Хочу жить так, как вы жили. За вашу трудовую жизнь я питаю к вам глубокое уважение. Хочу тем же заслужить уважение и я. У вас же я научился этому. Вы своим примером заронили в мою душу семена, а я их взрастил.

Трудно сказать, что подействовало на дьяконшу. Едва ли ее озлобленной душе были доступны эти доводы. Но ласковый голос сына, его любовный взгляд, быть может, теплота его руки, которой он нежно сжимал руку матери, подействовали на нее успокоительно. С лица ее исчезло напряженное выражение злобы и отчаяния, она тихо привлекла к себе Кирилла и поцеловала его в голову.

– Ах, Кирилл! – сказала она тихим голосом. – Так-то мы на тебя надеялись, так-то надеялись! Думали, что возвышение нашему семейству будет, а ты вот что придумал.

Но все это она сказала спокойным, примирительным голосом.

– Будет и возвышение! Погодите. Дайте сперва мне свое сердце удовлетворить. Все будет, маменька.

Кирилл посидел с нею с полчаса. Дьякон, подслушивавший их разговор в соседней комнате, дивился искусству сына разгонять бурю, – искусству, которому он не мог научиться за всю

жизнь, несмотря на свою полную покорность Арине Евстафьевне. Скоро и дьяконша встала с постели и принялась за свои обычные дела. И разговоров этих она больше не возбуждала.

Проездом в город заезжал Назар. Здесь его торжественно благословили. Арина Евстафьевна сделала ему подробные напутственные указания, как малому дитяти. Добродушный Назар выслушал их покорно и серьезно принял их к сведению. Он и в самом деле был дитя и, пускаясь в путь со столь важными намерениями без Луни, чувствовал, что почва под ним не тверда. Дело стояло так, что ежели преосвященный не изменит своего милостивого решения, то Назару придется одному прожить в городе, где-нибудь на постоялом дворе, не меньше как неделю, а это представлялось ему настоящим подвигом.

Следующие два дня после его отъезда в доме устимьевского дьякона были полны тревожного выжидания. Один Кирилл был спокоен; он знал, что архиерей сделал свое обещание серьезно и не изменит своему слову. Робкий дьякон боялся верить такому счастью, пока не увидит его воочию. Арина Евстафьевна, в душе которой глубоко сидел пессимизм, твердила, что надеяться следует только на дурное: оно никогда не заставит себя ждать, а по части хорошего всегда пообождать следует. «Иной раз по всем видимостям добро должно бы выйти, а на конец – злющее зло получается». Но по истечении двух дней можно уже было построить силлогизм такого рода, что будь Назару неудача – он уже вернулся бы, а если сидит в городе – значит, к сану готовится.

– А может, его на епитимью там поставили, вот он и сидит! – заметила все-таки Арина Евстафьевна, хотя в душе больше склонялась к общему мнению.

Наступило воскресенье. Дьякон облачился в чистенькую ряску, примазал и пригладил волосы и вообще принял вид торжественный и благолепный.

– Уж это верно, что сегодня его рукополагают! – с торжественным умилением повторял он и служил в этот день в церкви с особой настроенностью, подчеркивая слова и произнося их нарастав. Волнение его с каждым часом усиливалось. Придя из церкви, он, в противность обычаю, совсем отказался от рюмки водки и от вяленого рыба со свежим луком. Он и от обеда отказался, просто не мог есть от волнения. Вечный дьякон, он считал священство недосягаемым идеалом, и вот Назар, который, казалось, был так же, как и он, осужден на вечное дьяконство, сегодня взбирается на эту высокую ступеньку жизненной лестницы. Сильно волновалась и Арина Евстафьевна, но прятала свое волнение внутри себя и неискренно твердила, что не верит.

Наконец, к вечеру приехал Назар. Он вошел в комнату торжественно-сияющий и, остановившись на пороге, внимательно и набожно осенил себя крестом, поклонился иконам, а затем, обратившись к семье, которая вся сидела за чаем, молча поблагословил ее. Тут все поняли, что свершилось, чинно поднялись и тоже стали креститься. Радость была до того велика, что в первое время все молчали. Оправившись, все чинно подошли поочередно к новому иерею и взяли у него благословение. Затем стали расспрашивать Назара, как все это случилось. Он рассказывал по порядку с мельчайшими подробностями, а когда дошел до описания своего первого визита к архиерею, то, обращаясь к Кириллу, сказал:

– Про тебя он говорил страсть как хвалебно: «Он, – говорит, – пример всей епархии. И собственно ради его христианского смирения я тебя призвал в священники». Велел сказать, что место тебе хорошее приготовил, чтобы скорее женился и к нему приезжал.

Вся семья, кроме отца, смотрела недоумевающе на Кирилла.

Назар ночевал в Устимьевке. Кирилл уехал в город на другой день.

IV

Две недели, что Кирилл провел в городе, были для него мучительны. Просил он отца Гавриила, и матушку, и Муру, чтобы венчанье было скромное, но его и слушать не хотели.

– Многого хочешь! – говорила матушка. – Уж и так тебе во всем уступили, во всем. Ну а в этом уж извини. В этом я не уступлю!

И матушка вздыхала при воспоминании о той уступке, которую она сделала Кириллу. Мура со своей стороны говорила, что ей ужасно хочется провести брачный вечер среди блеска огней и шума гостей. Она откровенно призналась Кириллу, что давно и постоянно об этом мечтала. Отец Гавриил прямо заявил, что этого требует его положение в городе. Противиться таким доводам было бесполезно.

И вот второй этаж церковного дома расцвечился огнями, в соборе зажгли главное паникадило, пели архиерейские певчие, а Апостола читал громоносный бас, состоявший при соборе сверх штата и предназначенный в протодьяконы. Весь цвет духовной молодежи города, все дочки, ждавшие женихов в виде академиков, с толстыми маменьками, учителя семинарии, батюшки и даже кое-кто из семинаристов старших классов – все это было в церкви, а из церкви перешло в церковный дом и веселилось там напропалую до утра. Мура была весела, оживлена и миловидна в своем белоснежном наряде с массой цветов на голове. Кирилл был мешковат в непривычном фраке, но это ему шло, как академику, в котором предполагалось много серьезности и учености. Из устимьевской родни на празднике присутствовали только Мефодий и Мотя; старики убоились блеска и сказали: «Куда нам! где нам!». Луния не могла оставить ребяташек, а Назар просто сослался на свою толщину. При том же он как раз в это время переезжал в свой приход, в село Гурьево, куда он был назначен настоятелем.

Через два дня после свадьбы Кирилл явился к архиерею.

– А-а!.. – приветливо встретил его архиерей. – Знаю, знаю. Отец Гавриил мне сказывал. Хорошую девицу в жены взял. Ну а я тебе место уготовал. Это будет поблизости к твоей родине. Местечко Луговое знаешь?

– Местечко Луговое?!

– Ты что же, недоволен?

– Там два священника, ваше преосвященство!

– Ну, и ты будешь настоятелем.

– Боюсь я этого. Уживемся ли?

– Ты-то? С твоей-то голубиной кротостью? Нет, нет, уж ты не возражай. Я решил, так тому и быть. Все-таки в местечке есть и базар, и школа, и почта. Не глушь какая-нибудь... Готовься. В пятницу праздник, мы тебя в диаконы возведем, а в воскресенье и в иереи. Иди с Богом.

Кирилл больше не возражал. Но он был крайне недоволен назначением. Местечко Луговое – огромное по размерам, с массой прихожан. Это его не пугало. Но там он будет не один. Все его планы будут встречать противодействие в товарище. Найти в нем помощника он даже не рассчитывал. Пойдут несогласия, дразги, подкопы, то есть как раз то, чего он больше всего боялся. Но настойчиво возражать архиерею, который с первого же шага так много для него сделал и так сочувственно отнесся к его планам, он не решился. Он сказал себе: «Будь что будет. Что бы там ни было, я буду тянуть свою линию. Ничто не заставит меня свернуть с намеченного пути и жить не так, как я решил. Почем знать? Может быть, это и к лучшему!».

С этого времени он начал ощущать постоянное волнение. То, что теоретически сложилось в его голове, начинало осуществляться. Подходила практика, к которой надо быть готовым. Иногда он садился около Муры, брал ее руки и говорил:

– Ах, Мура! страшно! Задача трудная, хватит ли сил?

Мура совсем неясно представляла себе сущность этой «задачи». Но и ей делалось страшно, потому что он так говорил. Сомнение, однако, проходило; он тут же прогонял из головы мрачную мысль и объявлял, что это не больше, как настроение, и что он не имеет никаких оснований сомневаться в своих силах.

– Мы такие молодые с тобой, Мура!.. Когда состаримся, тогда будем сомневаться!..

Мура подтверждала и это. Она была его отголоском. Она любила в нем своего мужа – молодого, умного, симпатичного, сердечного, считая его необычайно развитым и даже ученым, а его идеи высокими и для нее недостижимыми.

В пятницу Кирилл пришел домой из церкви в рясе. Мура, увидав его в этом костюме, чуть не упала в легкий обморок, а очнувшись, начала плакать.

– О чем же ты? – спрашивал Кирилл, стараясь утешить ее лаской, но это не помогало. Станным казался ей Кирилл в своем новом костюме. Она привыкла любить его в сюртуке, в виде обыкновенного молодого человека; она находила его стройным и довольно ловким. И вдруг все это исчезло под широкой и длинной рясой, под этим костюмом, разгоняющим всякие мысли о любви, о романе. Теоретически она допускала, что Кирилл наденет рясу, но когда это случилось воочию, когда он предстал перед нею уже посвященный, без малейшей надежды снять когда-нибудь рясу и принять вид обыкновенного молодого человека, какого она любила, когда все уже было кончено и навсегда, – сердце у нее невольно сжалось, и она не в силах была удержать слезы.

– Ах, Мура, Мура! Да ведь я тот же! Не переменялся же я от того, что надел рясу!..

– Какой ты странный, некрасивый, смешной! – произнесла Мура, уже улыбаясь сквозь слезы.

Он посмотрел на себя в зеркало и также улыбнулся. Действительно, вид у него был странный. Короткие волосы, вчера только постриженные «в последний раз», начисто выбритые подбородок и щеки – тоже «в последний раз»; маленькие, едва пробивающиеся усики, совершенно юношеское выражение лица, тонкий стан, все это придавало ему такой вид, будто он в шутку нарядился в рясу – это одеяние солидных пастырей, предполагающее и бороду, и длинные волосы, и солидное сложение. Но это было не в шутку, и Мура это знала. Оттого она и плакала.

Матушка поздравила его и при этом как-то косо посмотрела на его костюм. Она была оскорблена в лучших своих чувствах. Затаенное желание большинства духовных жен – пустить своих детей по светской части. Она именно и рассчитывала, что ее зять, который с таким блеском шел в академии, будет инспектором в семинарии либо даже профессором в какой-нибудь академии, и разве уже достигнув сорокалетнего возраста, вступит в рясу и сразу займет место кафедрального протоиерея. Но раз она допустила это – должна была сносить; поэтому она ограничилась сухим поздравлением и не прибавила ни одного укоризненного слова. Отец Гавриил, участвовавший в посвящении Кирилла, отнесся к этому факту спокойно; ему было известно, что архиерей одобряет поступок Кирилла, и он втайне возлагал на это обстоятельство большие надежды. Надоест Кириллу в деревне, дурь пройдет, тогда преосвященный сразу даст ему лучшее место в городе.

В воскресенье Кирилл был рукоположен во священники. Много передумал он и переживал в течение тех немногих минут, когда на него, по чину церковному, возлагали этот сан. Вот пришла та минута, когда он формально и всенародно связал себя узами долга, без исполнения которого он находил жизнь неинтересной и несправедливой. В этот миг он почувствовал уважение к себе, к своей последовательности, к своему характеру. Он знал многих людей, которые говорили о лежащем на них громадном долге и у которых не хватало решимости перейти от слов к делу. И всю жизнь они говорят об этом долге и не идут дальше этих слов. Он оставил их позади, наметил себе цель, и вот сегодня он ступил твердою ногой на дорогу, которая поведет его к этой цели. Он не то чтобы возгордился или осуждал кого-нибудь, нет, – но в эту торжественную минуту он не мог же оставаться равнодушным к самому себе и не похвалить себя за твердость духа.

Марья Гавриловна была в церкви. Сердце у нее усиленно билось, когда над Кириллом совершали обряд. Ей казалось, что этот обряд косвенным образом и над нею совершается, и когда Кирилла облачили в священническую ризу, она мысленно сказала себе: «Вот уж я и матушка-попадья!». Но вообще за эти три дня она пригляделась к костюму Кирилла

и свыклась с новым положением. После обедни Кирилл сказал ей несколько торжественным, многозначительным тоном:

– Теперь, Мура, жизнь настоящая начнется. До сих пор мы все только готовились!

И весь этот день настроение его было какое-то повышенное; глаза горели вдохновенным блеском, точно обряд, совершенный над ним в церкви, в самом деле переродил его. Мура пугалась этой перемены, которая какими-то неуловимыми путями отдаляла от нее Кирилла. Иногда он вдруг начинал казаться ей чужим, он – священник с сосредоточенно строгим взглядом, говорящий тоном проповедника. Разве это тот милый, сердечный, близкий ей Кирилл, которого она полюбила? И в эти минуты ей становилось жутко; будущее представлялось ей смутным, неизвестным и холодным. Но это было минутное настроение, которое исчезало, опять приходило и опять исчезало.

Началась пробная неделя. Кирилл ежедневно служил в архиерейской церкви. Приходя домой, он обыкновенно был нервно возбужден и выражал крайнее нетерпение.

– Скорее бы на место отправиться! – повторял он по нескольку раз в день. – И как долго тянутся эти приготовления!

– Вот уж не понимаю! Не понимаю, – возражала матушка, – чего тут торопиться? Надоест еще в глуши-то киснуть! Господи – как надоест!

– Дорваться до дела, зарыться в него с головой, с душой и телом, отдаться ему безраздельно!.. – восторженно говорил Кирилл, не обращая ни к кому и неопределенно глядя в пространство.

Матушка широко раскрывала глаза, пожимала плечами и уходила из комнаты. «Нет, думала она, – необдуманно поступили мы, выдав за него Марью. Ничего не вижу я в нем хорошего. Городит несуразное... Похоже на то, словно у него одной клепки не хватает...» Но Муре она не высказывала своих заключений.

Едва только кончилась пробная неделя, в воскресенье после обедни Кирилл заторопился с отъездом. Мура была готова. Он всю неделю подгонял ее; она уложила все свое приданое в сундуки. К этому дню приехал из Устимьевки дьякон. Он взялся нанять фуру и сопровождать ее с разным скарбом до самого Лугового; Кирилл же с Мурой поедет на почтовых днем позже, когда там все уже будет приведено в порядок. В понедельник ранним утром дьякон, усердно помолившись Богу, двинулся в путь, а Кирилл пошел к архиерею за обычным напутствием.

Архиерей вышел к нему в темно-зеленой шелковой рясе, в клобуке и с длинными четками. Он собирался выехать со двора. Кирилла удивил несколько строгий вид, с которым он его встретил. Он не улыбался, не шутил и вообще отнесся к нему более начальственно. Кирилл объяснил это тем, что он теперь священник, в рясе, и, следовательно, архиерей является его прямым начальником. Он и раньше заметил, что с людьми, носящими гражданское платье, архиереи обращаются снисходительнее и проще. Архиерей говорил с ним стоя и сам стоял, тогда как прежде он всегда приглашал его садиться и сам садился.

– Ты отправляешься на место своего служения? – спросил он, перебирая четки обеими руками.

– Да, думаю завтра отправиться, – отвечал Кирилл.

– Следовательно, ты не раздумал и стоишь на своем?

– Нет, не раздумал.

– А то я тебе дал бы хорошее место здесь, в купеческой церкви.

– Благодарю вас. Но я хочу в деревню...

Архиерей нахмурил брови и пристально посмотрел ему в глаза.

– Ты хочешь этого непременно? – выразительно спросил он.

Кирилла удивил этот вопрос и эта перемена в тоне.

– Да, я хочу этого, ваше преосвященство!

– Помни, однако, – строго-наставительно сказал архиерей, – что в твоём новом сане никакие умствования не должны быть допускаемы. Ты должен быть пастырем твоих овец, не более.

– Добрым пастырем, ваше преосвященство.

– Разумеется, добрым, – слегка возвысив тон, перебил его архиерей, – но не думаешь ли ты, что все прочие пастыри не таковы? Нехорошо начинать службу с такими горделивыми мыслями.

Все это было до последней степени странно, и каждое новое слово архиерея приводило Кирилла в изумление. Откуда все это? Кто внушил ему эти подозрения?

– Вот что, сын мой! – прибавил архиерей, как бы несколько смягчившись. – Ты для меня загадка. Одно из двух: или ты добрая и простая душа, или в тебе сидит демон возмущения.

– Возмущения! – воскликнул Кирилл. – Вы прежде не думали так, ваше преосвященство.

В лице архиерея можно было заметить легкое смущение. Казалось, ему даже сделалось стыдно за это испытание, которому он подверг ни в чем не повинного человека. Он улыбнулся, поднял руку и потрепал Кирилла по плечу.

– Нет, я знаю, что у тебя невинная душа, – мягко и дружеским тоном сказал он, – однако же блюди! Мне известно, что, будучи в академии, ты с умниками знакомства вел. Я уважаю умных людей, хотя бы и светских, но светские идеи неприложимы к иерейскому сану. Служи меньшему брату, единому от малых сих, это хорошая идея, но удаляйся всякой предвзятости. И осторожен будь, ибо твою добрую идею немногие понимают, а непонимающие во всяком добре могут зло отыскать! Осторожен будь! Это тебе мое отеческое напутствие!

Он с большим чувством поблагословил Кирилла и даже облобызал его и отпуская, прибавил:

– Дерзай!

Кирилл вышел от него в большом недоумении. Не было никакого сомнения, что у архиерея с кем-то была про него речь. Этот «кто-то», конечно, человек сведущий про его жизнь в академии. Кто бы это мог быть?

Он нанял извозчика и поехал в соборный дом. У самых ворот, когда он уже слез с брички, ему попался на глаза молодой Межов, который подлетел к нему и прямо заявил:

– Утвердили, брат, таки утвердили. Разумеется, сперва исправляющим должность, а потом и совсем утвердят.

Кирилл понял, что речь идет об инспекторстве. Межов осмотрел его и продолжал:

– А ты уже в рясу облачился?! Скоро. Вот, признаюсь тебе откровенно, чего я не понимаю, так именно этого!

– Ну что ж я с тобой поделаю, коли ты не понимаешь! – поспешил ответить Кирилл.

– То есть, как сказать... Я понимаю... Деревня, слияние с народом и прочее... Только это, извини, глупо!

– До свидания... Я спешу! – оборвал его Кирилл, кивнув головой, и быстро скрылся в калитку. Не любил он разговаривать с этим господином. О чем бы они ни начали разговор, всегда оказывалось, что их мнения как раз противоположны. Они как-то органически, безнадежно расходились во взглядах. К тому же Межов был болтлив и любил развивать свои взгляды в многословных тирадах.

«Этот сболтнул дядюшке-ректору, а дядюшка-ректор поведал архиерею с соответствующими случаю комментариями, вот и вся история», – подумал Кирилл, и для него в самом деле стало все ясно.

V

В среду, около двух часов дня, почтовая таратайка, окруженная густым клубом пыли, из глубины которого, как из таинственного облака, раздавался зычный лязг почтового коло-

кольчика, вкатилась в пределы местечка Лугового. С первого взгляда можно было понять, что это поселение лишь по недоразумению сделалось местечком. По какому-то случайному признаку люди вообразили, что место это бойкое, удобное, и давай строить хату к хате. А может быть, в прежнее время здесь пролегла большая торговая дорога, которая собрала сюда народ; а потом, с проложением новых усовершенствованных путей, пункт этот остался в стороне.

Луговое было без толку разбросано на расстоянии добрых двух верст в длину да на версту в ширину. Хаты были приземистые, крытые старым, давно почерневшим камышом, и это были хаты прежних владельцев, у которых некогда был еще достаток. Они прилегали к главной улице, неподалеку от узенькой речки, поросшей куширем¹³ и окаймленной густой стеной зеленого камыша. На этой улице стояла и церковь, небольшая и невысокая, с единственным зеленым куполом и без колокольни. Колокола висели под деревянным навесом, укрепленным на двух столбах. Далее в обе стороны шли узкие проулки, застроенные большею частью землянками с низенькими земляными крышами, на которых привольно росли бурьян и лопух, а кое-где – посеянный лук и даже огуречная гудина¹⁴. Таким образом было ясно, что позднейшие поколения отличались уже откровенной бедностью и селились прямо в землянках.

При самом въезде в местечко справа расстился довольно обширный сад, но сильно запущенный, со множеством высохших деревьев, поросший высоким бурьяном и чужеядным¹⁵ кустарником. В самом саду помещался помещичий дом, квадратный, с почерневшей и покоробившейся деревянной крышей, небольшой и, по-видимому, неблагоустроенный.

Почтовая таратайка направилась к церкви и остановилась у крыльца чистенького каменного домика с зеленой крышей, примыкавшего к самой церковной ограде. На крыльце стоял и приветливо улыбался устимьевский дьякон. Он был доволен и благорасположен, потому что квартирка в церковном доме оказалась удобной, приличной и поместительной.

– Только народ здесь все ободранный, голоштанник какой-то!.. Сомнительно, чтобы здесь доход был хороший! – прибавил дьякон, когда молодые хозяева вошли в дом и сняли с себя страшно запыленные верхние платья. Впрочем, он рассказал и кое-что утешительное. Он уже побывал у священника. Отец Родион Манускриптов уже пятнадцать лет сидел в Луговом и, конечно, знал, какие здесь доходы. Сначала он принял дьякона сухо.

– Вы кто такой? Я вас не знаю. Ваш сын – молодец, и в настоятели лезет, а я пятнадцать лет здесь корплю.

Но дьякон объяснил, что Кирилл не просился в настоятели, а случилось это потому, что он первый магистрант академии.

– Магистрант?! Вот как! Ну, тогда конечно, конечно... Тогда другая статья.

Слово «магистрант» в глазах отца Родиона Манускриптова было волшебным. Оно давало человеку все права на первенство во всех отношениях. Сам он достиг священства исподволь, путем долгих просьб, ибо курса семинарии не кончил. Получив столь значительное разъяснение, он открыл свою душу устимьевскому дьякону и поведал ему, что в сущности доходы здесь хороши, ежели действовать умеючи. Народ – голытьба, это правда, но есть дворов десять богатых, а кроме того, наезжают по воскресеньям достаточные хуторяне. Народ это такой, что ежели его пригласить да угостить чаем и водкой, то он тебе на другое воскресенье полную засеку жита привезет.

– Хуторянами и живем по преимуществу! – прибавил отец Родион. – А собственно Луговое, так это, можно сказать, «велика Федора, да дура». Толку с него мало. Народ бедственный и притом грубый. Три кабака здесь есть, так они всегда полны, а церковь пустует. Помещица

¹³ Кушир, кушур – водяная крапива.

¹⁴ Гудина, огудина – ботва некоторых огородных растений.

¹⁵ Чужеядное растение – паразитарное.

тоже здесь есть, но странная особа. Церковь не посещает и вообще к духовным лицам не благоволит... Ну а в общем – жить можно.

Все это дьякон рассказал Кириллу и прибавил от себя:

– Ты с отцом Родионом сойдись. Да и помещицу посети. Может, она к твоей учености снизойдет. Все-таки подмога.

Тут он заторопился, наскоро выпил чаю и уехал в Устимьевку, сказав, что отец настоятель будет сердиться за его долговременное отсутствие.

Утомленный дорогой, Кирилл решил в этот день не предпринимать ничего. Он деятельно помогал Муре расставлять мебель, вынимать из сундуков платье и белье и все это распределять по комодам и шкафам. День был жаркий, августовский. Они открыли окна в небольшой палисадник, в котором цвели настурции, георгины и анютины глазки, посаженные, должно быть, их предшественниками. Из окон видны были мужицкие хаты с узенькими гумнами, где копошились крестьяне, мелькали в воздухе цепи и раздавался торопливый стук их. Бабы загребали солому и сметали зерно в кучу. Мура глядела на все это с детским любопытством. Первый раз в жизни она видела, как делается хлеб. Этот стук возбудил в ней непонятную тревогу. Мысль, что она здесь хозяйка, в этой чужой для нее местности, с неизвестными ей людьми и обычаями, не уживалась в ее голове. Ей все казалось, что она не более как путница, и все это оригинальный дорожный эпизод.

Уже вечерело. Они сидели в спальне у раскрытого окна и отдыхали после возни. Им показалось, что в передней комнате, которую они называли «прихожей», скрипнула дверь и что-то зашевелилось. Марья Гавриловна вздрогнула, поднялась и заглянула в дверь.

– Добрый вечер, матушка! – сказала вошедшая женщина и низко поклонилась.

Она была невысокого роста, плотная, с выдающимся вперед животом. Лицо ее было красно, точно она перед этим целый день стояла у раскаленной плиты; на этом лице все было крупно и как-то особенно прочно сделано. Густые черные брови, соединенные в одну прямую линию, толстый нос, задранный кверху, с назойливо раскрытыми широкими ноздрями, широкий рот с толстыми губами малинового цвета, массивный четырехугольный подбородок и короткая толстая шея. На голове у нее был платок темно-серый шерстяной, дважды обернутый вокруг шеи, несмотря на то что было жарко и душно. Белая сорочка была грязновата, а ситцевая юбка сильно подтыкана, что придавало всей этой смешной фигуре деловитый вид.

– А что вам? – с недоумением спросила Марья Гавриловна.

Ей показалось странным, как это можно входить в чужой дом без приглашения и без доклада. Ей было известно, что так делают нищие и подозрительные люди.

– С благополучным прибытием! – сказала женщина и опять поклонилась столь же низко. Голос у нее был мужественный, крепкий. Она продолжала: – Может, помощи что-нибудь?!

Мура подозрительно осмотрела ее и ничего не ответила. Вышел Кирилл.

– А ты кто такая будешь? – спросил он.

Женщина и ему поклонилась:

– Добрый вечер и вам, батюшка! Я здешняя женщина, Фекла, а по прозвищу Чипуриха. Я одинокая удова. Имею земляночку тут близенько. Всем батюшкам служила, и покойному отцу Парфентию служила, и который батюшкой перед вами был – отец Мануил, и ему тоже служила. Вот и вам, ежели надобится, служить буду.

– Что ж, – сказал Кирилл, обращаясь к Муре, – пускай служит. У нас никого нет.

Мура позвала его в спальню и тихонько спросила:

– А не опасно? Может, у нее какие-нибудь мысли?

Кирилл рассмеялся.

– Какие у нее могут быть мысли? Взгляни на ее лицо, и ты увидишь, что у нее в голове никаких мыслей нет, ни дурных, ни злых.

– Ну, вот и отлично, Фекла! Служи, а мы тебя не обидим!

– Ну где ж там обидеть! За что меня обижать?! Да и много ли мне нужно, бедной удове?!

И Фекла начала «служить». Это был первый узел, который связал молодую чету с населением Лугового. Фекла служила исправно, по крайней мере для первого раза. Она суетилась, стучала в кухне лоханями и посудой, расставляла их по разным углам, мыла полы, стирала пыль и вообще заслужила самую искреннюю благодарность Марьи Гавриловны. Когда стемнело, она объявила, что пойдет ночевать в свою землянку. Мура дала ей полтинник, который привел Феклу в неописанный восторг. Она схватила обе руки молодой матушки и звонко поцеловала их, чем привела Муру в крайнее смущение. Выйдя на улицу, она с трепетным замиранием сердца, с головой, наполненной впечатлениями и новостями, с минуту постояла и подумала, куда ей идти. В свою землянку ее не тянуло. Там не было ни души – значит, не перед кем было облегчиться. Надо было выбрать такое место, где было много баб, куда и соседки, узнав о том, что она была у нового священника, придут. Одним словом, она жаждала широкой аудитории и наконец решила, что лучше всего пойти к церковному старосте, в доме которого помещалась масса баб. Туда она и направилась.

В скорости после ее ухода дверь в прихожей опять скрипнула, и послышались шаги тяжелых чобот¹⁶. Оказалось, что это был церковный сторож. Он хотел представиться новому настоятелю и заявил, что его зовут Кириллом.

– А вас, батюшка, как прикажете величать?

– И меня Кириллом зовут! – ответил батюшка.

– Ото и добре! Легче запомнится! Уже своего собственного имени никогда не забудешь! – философски заметил церковный сторож и прибавил: – А насчет опасности не сомневайтесь! Я всю ночь на церковных ступеньках сплю, а ежели проснусь, так сейчас в большой колокол звонить начинаю. А может, угодно приказать, чтоб я не звонил? Потому как бы молодой матушке беспокойства от моего звону не было.

Кирилл сказал ему, чтобы он звонил по-прежнему.

Наступила ночь. Мура, утомленная дорогой, уборкой и массой новых впечатлений, заснула, едва только опустилась на постель. Но Кирилл не мог уснуть. Сегодня он еще частный человек, ничем фактически не связанный с тою новою жизнью, которая ему предстоит, а завтра начнется его служение. Он против всякого желания мысленно проверял свою готовность приступить к этому служению. Он не знал еще, что собственно преподнесет ему жизнь и в каких формах он выразит свое воздействие на нее. Примеров перед его глазами не было. Были примеры совсем другого рода.

Традиция духовного звания, сколько ему было известно, состояла в постоянной борьбе с прихожанами из-за дохода. Прихожанин норовит дать поменьше; духовенство мало обеспечено и вынуждено драть побольше. Больше заработать, получше устроиться, обеспечить семейство – вот неизбежные его задачи.

Душа Кирилла возмущалась при мысли о такой программе. Удастся ли ему провести свою? Удастся ли ему возбудить к себе доверие в прихожанах? Не станут ли они смеяться над ним? Ведь традиция вырабатывалась веками. К дурному люди привыкают так же, как и к хорошему. Устанавливалась она дружными усилиями многих поколений, которые действовали в разное время, повсеместно, но все в одном и том же направлении. А он один хочет поднять меч против всей этой несметной рати, против ее векового дела.

Сквозь открытые окна в комнату западал бледный луч месяца: с деревни доносился отдаленный лай собак; сторож проснулся и прозвонил двадцать ударов. Мура сквозь сон спросила его, почему он не ложится спать.

– Ночь больно хороша. Не спится, – ответил он, и мысли его перешли на Муру.

¹⁶ Чоботи (укр.) – сапоги с высоким голенищем.

Вот она спит беззаботно – молодая, полная жизни и здоровья. И она любит его искренно, и сердце у нее доброе. И вот, имея около себя такое существо, может ли он сказать, что он не один? Станет ли она ободрять его, помогать ему? На эти вопросы, которые пришли ему в голову в такой ясной форме в первый раз, он не мог ответить. Это дурно, что они раньше не сговорились. Бог знает, чего она ждет и что может случиться.

– Ложись спать, Кирилл! – полураскрыв глаза, промолвила Марья Гавриловна.

И Кириллу показалось, что это как бы ответ на его сомнения. Нет, с этой стороны ему нечего бояться. Она любит его. В нем сосредоточены все ее радости. Ну, значит, она будет идти с ним рука об руку, что бы ни случилось.

На другой день уже в девять часов сторож явился к ним и объявил, что в церкви дьяк и дьякон ждут отца настоятеля.

– Да и тытарь¹⁷ пришел, только вот отца Родиона нет. Может, прикажете известить их?

Но Кирилл счел своим долгом лично навестить отца Родиона. Он надел рясу и велел сторожу вести его к священнику.

Отец Родион жил в собственном доме, который построил, как он объяснил, для того, чтобы после его смерти было где главу преклонить вдове и дочерям, которых у него было полдюжины. «А то ведь ежели в церковном доме, так сейчас приедет новый и на улицу их выгонит». Поэтому он свою половину церковного дома великодушно уступил товарищу. Дом его стоял неподалеку от речки, отдельно от крестьянских хат, и отличался от них размерами, черепичной крышей и желтыми ставнями.

Отец Родион находился в томительном состоянии духа. По правилам ему следовало первому пойти к настоятелю и представиться. Но так как настоятель этот был «молоденек», а он, отец Родион, пятнадцать лет уже славил Господа в чине иерейском да почти столько же в меньших чинах, то самолюбие не позволяло ему этого. И знал он, что ежели настоятель пришлет за ним, он в конце концов должен будет пойти, и все-таки не двинулся с места.

Приход Кирилла вывел его из затруднения.

– Пришел представиться вам, отец Родион. Зовут меня Кириллом, а по фамилии Обновленский, – сказал Кирилл.

– Оно бы следовало, чтобы я вам представился, отец Кирилл, потому вы есть настоятель!..

– Ну, какое тут в деревне настоятельство?! – простым и искренним тоном сказал Кирилл. – В товарищи меня возьмите, вот и все!..

– Оно конечно. Так бы и следовало!

– Так и будет! – подтвердил Кирилл. – Куда мне в настоятели, когда я и служить-то как следует еще не умею!

Отец Родион вел себя сдержанно и говорил с расстановкой, обдумывая каждое слово. Кто его знает, что он за птица. Говорит-то он хорошо, а как до дела дойдет, неизвестно, что будет. В виде меры предосторожности он для этого случая и рясу одел самую поношенную и обтрепанную, хотя была у него новая, хорошая ряса. Пусть не думает, что он нажил тут деньги: пожалуй, еще сократить его вздумает.

Они с четверть часа поговорили о разных общих предметах. Отец Родион спросил, правда ли, что Кирилл первым магистрантом академию кончил. Кирилл ответил.

– А что же вас, позвольте спросить, в деревню заставило поехать? Удивительно это!

– Здоровье! – ответил Кирилл. – Здоровьем я слаб, и город мне вреден.

«Не стану я объяснять ему. Не поймет, пожалуй», – подумал он, глядя на пухлое лицо отца Родиона с довольно-таки тупым выражением.

– Ага, это действительно, что деревенский воздух поправляет человека! – сказал отец Родион и подумал: «Оно как будто не видно, чтобы здоровье его было плохое».

¹⁷ Тытарь (*искаж.* ктитор) – церковный староста.

Во всяком случае, после короткого разговора его недоверие к новому товарищу значительно смягчилось. «Что ж, может, он и чудак, а сердцем добр и не фордыбачит¹⁸, носа не задирает». Но у него был наготове один вопрос, который должен был послужить самым верным пробным камнем. И когда они поднялись, чтобы идти в церковь, он сказал:

– Вот что, отец Кирилл, дабы не было никаких недоумений, надо бы спервоначалу изъяснить касательно доходов.

– А что, собственно, отец Родион?

– Насчет дележа. У нас так: две копейки идет священникам, а третья на остальной причет.

– Ну что ж, коли это обычай, я нарушать его не стану.

– Так-то так! А вот касательно этих двух копеек, которые вот на священников идут...

Как с ними быть?

– С ними? А, разумеется, пополам делить!

«Нет, он таки хороший человек! Истинно хороший! – подумал отец Родион. – Отец Мануил, так тот себе большую долю брал... А ей-богу, он таки хороший человек».

И с этого момента взгляд отца Родиона просветлел, движения сделались более свободными и речь потекла живее.

– Уж вы извините, отец Кирилл, семейство мое я вам впоследствии представлю, потому оно в настоящее время не в порядке! – сказал он, и после этого они отправились в церковь.

Луговская церковь оказалась зданием старинным. Ее невысокие своды были черны от сырости и кадильного дыма, иконы до такой степени стертые, что различать на них лица могли только коренные прихожане луговской церкви. Все здесь требовало капитального ремонта, начиная с дырявого, двадцать лет не крашенного пола, паникадила с позеленевшими от времени подсвечниками и кончая самой церковью. Притом же церковь была очень невелика, не больше как душ на триста.

– И то пустует! – с сожалением заметил отец Родион.

У самого входа с правой стороны на возвышенном месте перед стойкой стоял тытарь – приземистый, широкоплечий мужик с короткой седоватой бородой, с тщательно смазанными церковным маслом и прилизанными волосами. Он был в цветной узорчатой жилетке, в ситцевой рубашке, широких штанах, однако ж городского покроя, и без сюртука.

– Карпо Михайлович Кулик, наш церковный староста! – отрекомендовал его отец Родион. – Один из наиболее почтенных поселян. Имеет достаток. Три сотни овец и прочее.

Кулик наклонил голову и подставил ладони для получения благословения. Кирилл благословил его молча.

– Трр-етье трр... – начал было Кулик, но никак не мог выговорить всю фразу.

– То есть третье трехлетие он тытарем служит, – пояснил отец Родион. – Он заика! – прибавил он; а Кулик отдернул шелковый платок, покрывавший стойку, и глазам Кирилла представился целый ряд систематически разложенных кучек восковых свечей разного калибра, от самого тоненького, двухкопеечного, до полтинничных – свадебных. Было очевидно, что Кулик недаром прослужил три трехлетия в должности тытаря и, во всяком случае, научился в порядке содержать свечной стол.

Едва только Кирилл дошел до середины церкви, как с обоих клиросов ему навстречу пошли две фигуры, очень мало похожие одна на другую и в то же время заключающие в себе общую черту, сближавшую их. Слева шла невысокая фигура в серой ряске, с массой кудрявых черных волос на голове. Ввалившиеся щеки, острый нос и желтый цвет лица, на котором даже растительность была невероятно скудна, как на неплодородной почве, говорили о снедающем этого человека недуге. Другая фигура, которая шла от правого клироса, была высокого роста и атлетического сложения. Узкий полукафтан плотно облегал ее полновесные, упругие члены.

¹⁸ Фордыбачить – возражать, дерзко противоречить.

Фигура тяжело ступала, и углый пол сгибался под нею. Сходство же между ними заключалось в том, что оба они шли, опустив руки по швам, и болезненное лицо первого выражало такое же смирение, как и красное, пышущее здоровьем волосастое лицо второго. С одинаковой покорностью наклонились перед настоятелем кудрявая голова худого человека и лысая, ярко блестящая голова атлета, и совершенно на один манер подставили они свои ладони для благословения.

– Диакон Симеон Стрючок! – болезненным альтиком проговорил невысокий человек в ряске.

– Дьячок Дементий Глушенко! – громовым басом отрекомендовался атлет.

И получив благословение, они стали в виде ворот, сквозь которые прошли Кирилл и отец Родион. Осмотрели алтарь. Кирилл нашел, что здание церкви находится в опасности, а утварь требует перемены.

– Средств не имеем... А то давно бы! – сказал отец Родион. Но в сущности ему до сих пор и в голову не приходили подобные мысли. Он исходил из той точки зрения, что для Бога все едино, где бы и на чем бы ни служить Ему.

Окончив осмотр, Кирилл попросил всех к себе. Фекла Чепуриха, несмотря на то что Мура еще спала, давно уже приготовила самовар. Кирилл угостил чаем весь причт луговской церкви.

VI

К удивлению отца Родиона, в воскресенье церковь была наполнена чисто луговскими прихожанами. Были, конечно, и хуторяне, но главный контингент молящихся состоял из коренных жителей местечка. Но удивление отца Родиона достигло высшего предела, когда, во время чтения дьяконом Стрючком Евангелия, в церкви появилась и стала слева, позади клироса, сама помещица, Надежда Алексеевна Крупеева.

Собственно, в этом ничего не было удивительного, так как этому воскресенью предшествовала изрядная агитация со стороны причта, церковного старосты, сторожа и в особенности Феклы Чепурихи. Каждый вечер Фекла собирала где-нибудь на завалинке баб и описывала им нового священника, молодую матушку, и как они живут, и что они говорят. Про Кирилла она рассказывала, что он «добреющей души», а про Муру, что «ее трудно раскусить: дикая она какая-то; в хозяйстве ничего не смыслит». Из других источников было известно, что Кирилл невероятно ученый человек. Тытарь Кулик рассказал, что таких ученых на все государство только и есть двенадцать человек. Надо полагать, что ученость Кирилла возбудила любопытство и помещицы. Все ожидали, что новый настоятель скажет вступительную проповедь, в которой докажет перед луговскими прихожанами всю свою необычайную ученость. Ждали также, что ученый настоятель устроит и служение какое-нибудь особенное, торжественное. Но с первого же шага началось разочарование.

– Настоящая пигалица! Тонкий да безбородый! – говорили прихожане, по мнению которых священник должен быть плотного сложения, иметь окладистую бороду и громкий голос. Не нравилась и служба нового священника.

– Бормочет там что-то себе под нос, ничего и разобрать нельзя. Уж отец Родион, даром что мало ученый, а лучше служит. У него каждое слово слышишь. В чем же эта самая ученость? А бабы брехали... Ну народ!..

Когда же и обедня кончилась, а новый настоятель даже никакой проповеди не сказал, то разочарование было окончательное.

– Какой там ученый?! Видно, малоумный оказался, вот его и прислали к нам. Двенадцать, говорит, на всю Россию, ну, таких, я думаю, двенадцать тысяч найдется, даже девать их некуда!

Отец Родион стоял всю обедню в алтаре. Перед концом он подошел к Кириллу и тихонько сказал ему:

– Отец Кирилл, здесь в церкви помещица присутствует. Это – редкость. Надо бы ей просфору вынести!

Кириллу был хорошо известен обычай выносить помещикам просфору. Обычай этот не нравился ему еще в детстве.

– Нет, отец Родион, не надо! – сказал Кирилл. – Пока еще я не знаю никаких ее заслуг... А вы знаете, отец Родион?

– Положим, что ничего такого... Но все ж таки помещица... Я всегда выношу ей просфору.

– Простите меня, отец Родион, но я ей просфоры не вынесу! – мягко ответил Кирилл.

И более наблюдательные прихожане заметили, что новый священник не вынес просфоры помещице. Заметили еще и другое. Когда кончилась обедня, хуторяне запрягли коней в свои «дилижаны»¹⁹ и поехали домой. Точно так же разошлись по домам и местные богачи. Кирилл никого не пригласил к себе на чай или закуску. Все эти обстоятельства вызвали два толкования. Одни говорили, что Кирилл гордец, а другие – что он для всех хочет быть равен. Присматривались к выражению лица помещицы – не обижена ли она невниманием к ней нового священника? Но ничего такого не заметили. Она вышла из церкви, поговорила о чем-то с двумя бабами – после оказалось, что она спросила, как их зовут, села в экипаж и поехала домой.

Понятное дело, что в этот день деревенские разговоры вертелись главным образом на новом священнике. И надо сказать, что в общем преобладало неодобрение.

Но в этот же день случилось обстоятельство, которое совершенно спутало луговских прихожан. Антон Бондаренко, землянка которого находилась на самом краю села, вздумал выдавать свою дочку замуж. Это было немножко странно, потому что свадебный сезон обыкновенно начинается в конце сентября. Но дело в том, что дочка его Горпина как-то совершенно неожиданно стала полнетью. Когда это сделалось очевидным, Марко Працюк, молодой, рослый парень, который не отрицал своей вины в этом обстоятельстве, отложил в сторону цеп и лопату и послал к Антону сватов. Так как с этого воскресенья начиналась седмица нового священника, то Антон пришел к Кириллу. Это было часов в семь вечера. Кирилл только что отслужил вечерню и, вернувшись домой, застал Муру за чайным столом.

– А дома батюшка? – спросил Антон у Феклы, которая совсем основалась в кухне.

– Чай пьют. Можешь и подождать!

– Так ведь мне не близкий свет домой-то идти. Версты две будет, сама знаешь.

– Ну, не могу же я от стола оторвать... Сейчас только из церкви пришли...

Разговор этот происходил в сенцах. Кирилл слышал его от слова до слова. Он отворил дверь и обратился к Антону:

– Что тебе?

Антон снял шапку и поклонился.

– К вашей милости, батюшка! Дело есть!

– Зайди в хату! – сказал Кирилл. Антон вошел и поклонился Марье Гавриловне.

– В чем же дело?

– Дочку надобно перевенчать!.. Так вот, я пришел...

– Что ж, перевенчаем! Когда хочешь?

– Завтра бы!..

– Ладно, и завтра можно! Часов в десять приходите в церковь!

Антон опять поклонился и молчал.

¹⁹ «Дилижан» (искаж. дилижанс) – особогорода повозка, перенятая зажиточными поселянами у немцев-колонистов.

– Ну, так иди с Богом! – сказал Кирилл. Но Антон не двигался с места. Он не только не считал дело конченным, но даже не думал, что оно началось. По его мнению, недоставало самого главного. Во всяком случае, батюшка перевенчает Горпину, в этом нет сомнения, на то он и батюшка.

– А сколько же за венчанье будет, батюшка? – спросил наконец Антон.

– Да уже дашь сторублевку! – сказал Кирилл и самым серьезным образом посмотрел ему прямо в глаза. Антон саркастически ухмыльнулся и выразительно мотнул головой.

– Гм... таких денег я сроду и не видал даже...

– Ну что ж, а я меньше не возьму!..

Антон поднял на него глаза, стараясь понять, шутит новый батюшка или глуп от природы. «Должно быть, он шутник!» – подумал Антон и сказал:

– Нет, уж вы, батюшка, настоящую цену говорите!..

– Как тебя зовут? – спросил Кирилл.

– Антоном Бондаренком.

– Так вот что, Антон: цену настоящую ты спрашивай, когда на базар придешь. Станешь порося покупать, так тебе и скажут настоящую цену, а ко мне ты пришел по делу церковному, святому. Церковь – не базар, в ней никакой торговли не может быть!

Антон смотрел на него недоумевающим взглядом. «Что-то я не второплю, – размышлял он про себя, – чи он жадный, чи Господь его знает!»

– Иди себе с Богом! – прибавил Кирилл. Но Антон не двигался с места.

– Как же оно будет, батюшка? – спросил он.

Кирилл возвратился к столу, сел и взял стакан с чаем.

– Много у тебя земли? – спросил он.

– Земли? Четыре с половиной. Да плавни²⁰ с полдесятины будет.

– А хлеб уродил у тебя?

– Хлеб? Да как сказать! И уродил, и не уродил. Жито Бог дал хорошее. С двух десятин почти что шестнадцать четвертей собрал, ячменю с полдесятины четвертей пять взял. Полдесятины баштану... Огірок²¹ ничего, а кавун²² весь погорел, вся гудина повяла, проса полдесятины... едва свое вернул. А десятина пшеницы даже совсем из-под земли не вышла. Ну а сено плавное в наших местах всегда хорошее. Высокое, густое... Дай Бог, чтобы на всем свете такое сено было. Поверите, батюшка, это не сено, а, как бы вам сказать, – шелк.

– Так ты, выходит, богач, Антон Бондаренко. Как же мне с тебя сторублевку не взять?

Антон опять выпучил глаза. Никак не мог уловить он тонкой усмешки, которую Кирилл сопровождал свои слова. Видя его недоумение, Кирилл сказал прямо:

– Ну, иди с Богом, Антон. За венчанье дашь, сколько сможешь. А не сможешь, и так повенчаем. И всем своим землякам скажи, чтобы со мной не торговались.

Антон поблагодарил и ушел чрезвычайно смущенный. Он даже не знал, рассказывать ли землякам о своем разговоре с батюшкой. По дороге он рассчитал, что может безобидно для себя дать за венчанье карбованец²³, не считая свечей, которые он купит особо. Будь это у отца Родиона, дешевле пяти рублей не отделался бы, а со свечами и все семь. Это было так приятно, что он боялся, как бы кто не помешал, не отсоветовал новому священнику. Очевидно, новый батюшка просто не знает порядков. А ежели это дойдет до отца Родиона, который ему растолкует, то дело примет другой оборот. Поэтому Антон решил сохранить это пока в секрете,

²⁰ Плавни – поймы низовий рек.

²¹ Огірок (укр.) – огурец.

²² Кавун (укр.) – арбуз.

²³ Карбванец (укр.) – рубль.

а когда уже дело кончится, рассказать землякам. И когда его спросили, много ли взял новый батюшка за венчанье, он без запинки ответил:

– Шесть карбованцев слупил!

– Ого! Видно, порядки знает!

– А то нет?! – окончательно покривил душой Антон. – Недаром же он, сказывают, ученый да переученый!

Когда Антон ушел и дверь за ним затворилась, Кирилл встал и в волнении прошелся по комнате.

– Знаешь, это даже обидно, до какой степени в них глубоко сидит эта болезнь! – заговорил он, обращаясь к Муре. – Ведь он приходит ко мне прямо как к торговцу: ваш товар, наши деньги! И я уверен, что он недоволен, даже, пожалуй, возмущен... Нет, ты обрати внимание: я священник, я должен освятить союз его дочери с ее женихом, он за этим пришел. И он говорит мне: продай мне на пять рублей Божией благодати! Я должен был сказать: нет, нельзя, это стоит десять, и наконец, довольно поторговавшись, мы согласились бы на семи рублях... Какого же мнения он будет обо мне?

– Однако, Кирилл, надо же чем-нибудь жить священнику! – возразила ему Марья Гавриловна.

– Конечно, надо, Мура, конечно! Но это надо как-нибудь иначе устроить. Такая форма обидна мне... Обидна!..

Мура ничего больше не возражала, но он нисколько не убедил ее. Она с малолетства видела, как спокойно торговались за разные требы, и привыкла думать, что это в порядке вещей и что иначе быть не может.

На другой день утром произошло венчанье Горпины с Марком Працюком. Венчанье было немногочленно, так как пора была горячая, да и про Горпину было известно, что она уже не девушка. Молодые торопились, чтобы поспеть на гумно, собираясь вечером устроить пирушку. После венчанья Антон подошел к Кириллу и, сильно конфузясь, сказал:

– Как уже вы разрешили, батюшка, так вот... карбованец могу!..

Кирилл спокойно взял от него рубленую бумажку и тут же передал ее дьякону, отцу Симеону. Дьякон взглянул на рублевку и совершенно непроизвольно скорчил такую жалкую мину, что дьячок Дементий, уносивший в алтарь венцы, сейчас же понял, что дело неладно. Через полминуты они о чем-то шушукались на клиросе. Вслед за этим Дементий крупными шагами побежал через всю церковь, догнал уходившего Антона и схватил его за рукав.

– Ты, бычачья голова, рехнулся, что ли? – спросил он его низким, сдержанным голосом.

– Чего? – проговорил Антон, хотя отлично знал, чего хочет дьяк.

– Как чего? За венчанье карбованец даешь?

– А ей-богу же, Дементий Ермилыч, я больше не имею!

– Да я тебя не спрашиваю, имеешь ты или нет, а ты скажи, сколько тебе батюшка назначил?

– Батюшка? Батюшка сказал: «Сколько в силах, столько и дашь...». Ну, я...

Дьячок Дементий совершенно растерялся, до такой степени это было дико. Этим воспользовался Антон и поспешил удрать, боясь, чтобы с него не слупили чего-нибудь лишнего. Дементий возвратился на клирос уже более сдержанными шагами и поведал дьякону то, что узнал от Антона. В это время Кирилл, сняв облачение, вышел из алтаря и направился к выходу. Они замолкли, но на лицах их явно выразилось изумление и неудовольствие, хотя они и старались скрыть эти чувства. Кирилл очень хорошо видел это, но сделал вид, что ничего не замечает, и вышел из церкви.

– Нет, что ж это такое, отец Семен, я вас спрашиваю? – во все свое широкое горло крикнул тогда дьячок Дементий. – Этак и с голоду пропасть можно! Ежели за венчанье не брать, так за что же брать?

– Новые порядки, Дементий Ермилыч! – слабым тенорком ответил болезненный дьякон и прибавил: – Ковшик с вином уберите, Дементий Ермилыч!

Дьячок Дементий ринулся к стоявшему посреди церкви низенькому квадратному столику, схватил ковш и помчался с ним в алтарь. Все это он проделал с неудержимым негодованием. Дьякон же стоял, смиренно опустив голову, как человек, привыкший смиряться перед всевозможными невзгодами жизни.

– Знаете что? – сказал дьячок, вернувшись из алтаря. – Пойдем к отцу Родиону и расскажем ему.

– А надо, надо! – ответил дьякон. И, выйдя из церкви, они направились прямо к отцу Родиону.

VII

Отец Родион принял их запросто. Он был в широких нанковых²⁴ шароварах, спускавшихся в голенища невысоких сапог, и в коротенькой куртке. Когда они вошли в комнату, которую называли гостиной, отец Родион стоял у клетки, висевшей над окном, и осторожно и сосредоточенно переменил воду канарейкам.

– А! наше воинство пожаловало! – промолвил он, оставшись в прежней позе и не покидая своего занятия. – Ну, как дела?

– Нехорошо, отец Родион! – пожаловался дьячок Дементий, в груди которого еще кипело негодование.

– Ну-у? Что же именно?

– Сейчас венчали Антонову Бондаренкову дочку. А за венчанье получили руб-карбованец.

– Это каким же манером?

Отец Родион все еще оставался спокойным и не оставлял своего идилического занятия.

– Очень просто. Кончили это мы венчанье, подходит Антон к отцу Кириллу...

Дьячок Дементий начал рассказывать, как было дело, останавливаясь на мельчайших подробностях. Когда он дошел до объяснения Антона и повторил его ответ: «Батюшка, – говорит, – сказали: сколько, – говорит, – в силах, столько, – говорит, – и дашь», то отец Родион внезапно оставил клетку, которая начала раскачиваться из стороны в сторону.

– Вот оно что! Ну, это, могу сказать, нехорошо! – сказал он.

– Весьма даже нехорошо! – жалобно подтвердил дьякон.

– Ведь это только один раз надо сделать, а там уж пойдет. Это *им* очень понравится!..

Под выражением *им* отец Родион разумел прихожан. Он пригласил причт садиться, и началось основательное обсуждение положения дела.

– Признаться, я сразу заметил в нем что-то такое... этакое... подозрительное, – говорил отец Родион, – но иначе, ежели так дальше пойдет, то можно и пожаловаться.

Совещание длилось более часу. В конце концов было решено не спешить и выждать, что дальше будет. Может, это от неопытности: просто, человек не знает порядков.

Первая седмица Кирилла была богата требами. У кузнеца Пахома, подковывавшего всю деревню, умерла старуха-мать. Кузнец не особенно печалился, потому что старуха долго болела, никакой пользы ему не приносила, представляя только лишний рот вдобавок к семи ртам, которые составляли его собственное семейство. Он пришел прямо к дьячку Дементию.

– Что, должно быть, Мавра Богу душу отдала? – спросил Дементий.

В местечке было известно, что Мавра плоха. Притом же в такое горячее время кузнец не стал бы шляться к дьячку без важной причины.

²⁴ Нанк – хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи.

– Вот как вы угадали, Дементий Ермилыч. Именно, отдала! Царство ей Небесное!

– Ну, так что же?

– Схоронить бы!

– А ты возьми, да и закопай ее. А мы в воскресенье пойдем на кладбище, да и отпоем.

Может, к тому времени еще кого-нибудь Господь примет. Так разом уже.

– Хотелось бы как следует, Дементий Ермилыч!

– Да ведь мне хотелось бы быть архиереем, мало чего! Не велика была птица твоя Мавра! Небось, за четыре гривны хочешь всем собором схоронить!

– Что ж, Дементий Ермилыч, – чем смогу, отплачу. Может, когда-нибудь коняку подковать придется.

– Это ты мне и так подкуешь!.. Нет, Пахом, брось ты это!.. У меня у самого пшеница недомолочена!

– Коли так, придется к самому батюшке пойти! – и Пахом направился к Кириллу.

«Вишь, пронюхали, каков этот батюшка. К отцу Родиону, небось, не пошел бы», – подумал Дементий и решил выждать, что скажет Кирилл.

Пахом пришел к Кириллу и заявил о том, что у него вчера умерла мать. Он собирался изложить свою просьбу о похоронах.

– Все ли у вас готово? – спросил Кирилл.

– Все, как полагается.

– Ну, так кликни там дьяка либо дьякона!

Пахом замялся.

– Дьяк говорит: «Сами, – говорит, – заройте, а мы в воскресенье отпоем!.. Мне, – говорит, – молотить надо, я за четыре гривны не могу дела бросить».

Кирилл промолчал, одел рясу и шляпу и вышел. С крыльца был виден ток²⁵ Дементия. Дьяк был в ситцевой рубахе без кафтана. Соломенная шляпа съехала у него на затылок. Он усердно стучал цепом; пот катился с него градом. Увидев батюшку, вышедшего на крыльцо, он удвоил усердие. Кирилл постоял с минуту и подумал: «А ведь у него большое семейство!». Он прошел ограду, вышел в калитку и приблизился к току Дементия. Дьяк остановился и почтительно снял шляпу.

– Помогай Бог! – сказал Кирилл.

– Прикажете на похороны сбираться? – спросил Дементий.

– Нет, ничего, я сам отпою. Дьякон тоже, я думаю, занят?

– Баштан собирает!

– Ну ладно, я сам справлюсь! – сказал Кирилл. В это время сторож принес ему узелок с облачением. Кирилл взял узелок и пошел вслед за Пахомом. Дементий смотрел ему в спину и думал: «Кто ты есть за чудак? Бог ли в твоём сердце живет, или ты лицемер? Не разберешь тебя».

Кирилл отпел Мавру и проводил ее на кладбище. Когда кузнец по окончании обряда протянул ему руку с кучей медяков, он сказал, что не надо. Только что перед этим он видел мизерную обстановку, среди которой ютился Пахом со своим многочисленным семейством. «Как я возьму у нищего?» – подумал Кирилл и сказал:

– Зимой у меня будет повозка. Когда в ней шина сломается, я позову тебя, ты мне спаяешь ее!..

– Что угодно сделаю вам, батюшка, за вашу доброту! – с большим чувством сказал Пахом.

В самом деле, он был очень тронут вниманием нового священника. В местечке Луговом так уже водилось, что особое отпевание полагалось только богатым покойникам. «Меньше как за два карбованца с места не сдвинусь», – прямо говорил предместник Кирилла. Для бедняков

²⁵ Ток – расчищенное место для молотьбы.

считалось достаточным, что их относили на кладбище домашними средствами, а потом разом отпевали, когда набиралось их с полдюжины. В особенности это практиковалось летом, когда все – и священники, и причт – были заняты каждый своим хозяйством. Прихожане свыклись с этим обычаем, который велся испокон веку, и не протестовали. Бывали иногда отдельные попытки склонить причт на уступку, когда в небогатой семье умирало почтенное лицо, как это случилось у кузнеца Пахома. Иногда в добрую минуту удавалось сойтись на карбованце с обещанием в будущем, по окончании молотьбы, принести мерку жита. Вообще вопрос о требах в местечке был поставлен прямо и открыто.

Это было в пятницу. К хате Дементия подъехал благоустроенный «дилижан», запряженный парой шустрых лошадок. В передку сидел парень в белой холщовой рубашке и в соломенном бриле²⁶ с широкими полями. В задней части, на люльке с рессорами, помещался увесистый мужик с сильно обросшим темным лицом, с маленькими глазками и густыми седыми бровями. Мужик был в синем чекмене²⁷, подпоясанном красным шарфом; на голове у него была фуражка синего сукна, и вообще он имел вид городского мещанина. Он сошел с «дилижана» и оказался человеком небольшого роста, ступавшим тяжело и уверенно. Дементий, сгребавший на току в кучу зерно, увидев его, тотчас положил лопату и пошел к нему через дощатые ворота.

– Марко Андреевич! Зачем вас Бог принес? Ну что, как у вас там на хуторах? Да идите же в хату!..

Дементий говорил и смотрел чрезвычайно приветливо. Очевидно, Марко Андреевич Шибенко, богатый хуторской прихожанин, был желанным гостем. Хуторянин слегка шевельнул густыми длинными усами, что означало улыбку, и протянул Дементию смуглую и корявую руку.

– Вашими молитвами, Дементий Ермилыч, живем! – пробурчал он отрывисто и слегка заикаясь. – А в хату, это можно!.. Слухай ты, Митько! Снеси один мешок в сени!

– Вот это добре! Не забываете нас!..

Митько стал лениво слезать со своего возвышенного сиденья, а хозяин и гость пошли в хату. В сенях их встретила супруга Дементия, Антонина Егоровна, женщина еще довольно молодая, а по комплекции и здоровью вполне подходящая к своему супругу. Она копошилась около кабицы²⁸, разводя огонь под котелком, в котором еще двигались живые раки. Ее окружали ребятишки со смуглыми головами и грязными носами, в длинных сорочках без пояса и без штанов, с большими животами и босоногие.

Антонина Егоровна извинилась, что не может подать руку Марку Андреевичу, потому что вся измазана сажей.

– Вы не обижайтесь, – прибавил Дементий, – она у меня всегда рохлей ходит.

Когда они вошли в хату, Антонина Егоровна сейчас же переселилась в чулан, вымыла руки, передела кофту, достала графинчик с водкой, вяленого рыба и в скорости появилась в комнате со всем этим добром.

– А чья будет нынче у вас седмица? – спросил прежде всего Марко Андреевич.

– Нового, отца Кирилла! – сказал Дементий и при этом как-то безнадежно махнул рукой.

– Ага, вот мы его и попробуем! Я новую засеку построил. Ну, завтра зерно ссыпать будем, а без свяченья, сами знаете, невозможно такое дело делать. Хочу сегодня, чтобы окропили.

– Что ж, мы с удовольствием, Марко Андреевич. Уж вы, конечно, нас не обидите.

– Вот еще! Да я хоть вперед готов. Вот даже сию минуту!.. Извольте, Дементий Ермилыч, сами уже батюшке передайте!

²⁶ Бриль (*укр.*) – шляпа.

²⁷ Чекмень – верхняя мужская кавказская одежда вроде казакина.

²⁸ Кабица – углубленная в землю глиняная печька.

Марко вынул из-за пазухи вязаный кошелек, отсчитал три трехрублевки и одну рублевку и подал Дементию. Дементий взял.

– Ежели бы все прихожане так обращались, так мы бы богачами были! – сказал он, сжимая в кулаке ассигнации. – Только такими, как вы, милостивцами и живем!

Но в это время у него в голове мелькнула мысль, которая омрачила его лицо. «Чего доброго, и тут новый настоятель штуку выкинет! – подумал он. – Возьмет, да и даст ему сдачи. От него станется!»

– А отчего бы вам, Марко Андреевич, не подождать до воскресенья? а? – спросил он не без задней мысли. – В воскресенье будет седмица отца Родиона, дело, значит, будет верное.

– Так говорю же – зерно готово, завтра ссыпает. Никак нельзя подождать!..

– Так, так!.. Ты, Антонина, угощай тут Марка Андреевича, а я схожу к батюшке, доложу...

– Может, и мне уже разом пойти? познакомится, значит! Я ему два мешка жита привез для знакомства.

– Нет, уж вы погодите... сперва я, а потом вы...

«А ежели он тебя да с твоим житом поперет куда не следует! – подумал Дементий. – Вот уже истинно чудаковатый батюшка!»

Дементий пошел к Кириллу. Он застал настоятеля за письменным столом. Марья Гавриловна сидела на диване и читала книжку.

– А! садитесь, пожалуйста, я сейчас! – сказал Кирилл, продолжая писать. – Мура, вот это наш дьячок, Дементий Ермилыч Глущенко!

Мура протянула ему руку. Дементий взял эту руку всей своей огромной ладонью, сжал ее и от смущения потряс с необычайным рвением. Но сесть он не решился, а остался стоять, отступя от дивана назад два шага. Мура спросила его, велико ли у него семейство. Он ответил, что, благодарение Богу, немаленькое, и прибавил, что старшего сына уже свез в духовное училище.

– В чем дело? – спросил Кирилл, повернувшись к нему вместе со стулом.

– С хуторов приехал мужик, Марко Шибенко. Просит поехать к нему и засеку освятить.

– Что ж, поедем!

– Он мужик богатый, первый на хуторе!.. Ну, и сам предложил десять карбованцев... я даже и не спрашивал. Так прикажете принять? – тоном виноватого объяснял Дементий.

– Сам предложил? – спросил Кирилл, вглядываясь в его физиономию.

– Ей-богу, отец Кирилл, я и не спрашивал, даже намеком.

– Ежели он богат и сам предложил, отчего же не взять.

– Разумеется, отчего не взять! Вот они и деньги!

– Положите их в общую кружку!.. И собирайтесь, поедем!

«Вот и разбери его! – размышлял Дементий, возвращаясь домой. – Ежели богатый, да еще сам предложил!.. А не все ли мне равно, богатый или небогатый. Много ли их, этих богатых? Сам, говорит, предложил! Так ведь это Марко Андреевич, хуторянин: хуторяне – совсем другой народ! Дождись-ка от наших луговских, чтобы они тебе сами предложили! Еще бы! Держи карман!» Проходя через свои сени, он увидел в углу мешок с житом, туго набитый и хорошо завязанный. «Вот он сейчас и виден, хуторянин! Сам привез, никто не тянул его. Да какой мешок: кругленький, веселенький, пудиков шесть будет! Это ежели даже по шести гривен, так и то три рубля шестьдесят будет. Деньги!»

Марко Андреевич успел уже выпить добрых пять рюмок и отказывался от шестой на том основании, что надо идти к батюшке.

– Оно, знаете, неловко. Водкой отдавать будет!

Это было единственное опасение, так как хмелел он, начиная со второго полштофа.

Он пошел к Кириллу. Батюшка уже облачился в рясу. Марья Гавриловна в соседней комнате рылась в комод, доставая ему чистый платок. Марко Андреевич вошел в сени

и, ради благовоспитанности, несмотря на то что было совершенно сухо, тщательно вытер подошвы о деревянный порог. Разглядев, что налево ведет большая двустворчатая дверь, а направо – низенькая ординарная, он сообразил, что направо будет кухня, и взял влево. Он растворил дверь и вошел. На пороге он остановился и, устремив спокойные взоры в угол, трижды перекрестился, а потом поклонился хозяину.

– Я Марко Шибенко с хуторов, батюшка! – сказал он, прищуривая глаза.

– А! вот мы к вам и поедem! я готов! – ответил Кирилл, думая, что Шибенко пришел торопить его.

– Не, это само собою, а я насчет другого дела.

– У вас дело? Садитесь, рассказывайте!

– Покорно благодарим. Только спервоначалу дозвольтe благословение взять.

Кирилл спохватился. Он никак не мог привыкнуть давать благословение всякому, кто к нему приходил. По всегдашней привычке рука его протягивалась для пожатия, между тем здесь ни один визит не обходился без благословения. Марко подошел к нему, взял благословение и поцеловал руку.

– А теперь вот и дело! – сказал он уже более развязным тоном. – Мы своих батюшек очень уважаем и всегда стараемcя оказывать им угождение.

– Садитесь, что же вы стоите! – пригласил Кирилл.

– Покорно благодарим! – ответил Марко, сейчас же воспользовался приглашением и сел на стуле, вытянувшись и держа ногу к ноге. – Что нам Бог по милости Своей посылает, тем мы и с духовными лицами разделяемcя. Так уже для первого знакомства дозвольтe, батюшка, два мешка жита вам в презент.

– Мне? За что же? Я еще ничем не заслужил!

– Вы за нас молитесь. Мы только и делаем, что грешим, а вы все отмаливаете. Вот за это самое! Притом уважение имеем к духовному сану. Так уже не откажите принять два мешочка.

– Да я, право... Я ничего не имею против. Только это как-то странно!.. Извольте, я приму!.. Благодарю вас!..

Кирилл сконфузился. Подобного предложения он не предвидел. Ему, однако, было известно, что нет большей обиды для мужика, как отказ принять от него дар.

– Вот и спасибо вам. Нам главное, чтобы душевность была. Ежели нашим братом не брезгуют, мы всегда готовы снабдить. А матушку не дозвольтe повидать?

– Отчего же? И матушку можно. Мура! Вот тут с тобой хотят познакомиться!

Марья Гавриловна вышла с платком в руке и с недоумением осмотрела Марка Андреевича, сидевшего на стуле. Она решительно не понимала, почему ему пришло желание познакомиться с нею. При ее появлении он встал и сделал ногами движение, слегка напоминавшее расшаркиванье.

– Так вот это матушка? Молоденькая какая, Господи Боже наш!

И он совершенно внезапно подошел к Муре, схватил ее руку и поцеловал. Мура не успела принять меры к отклонению этого порыва.

– Я с хуторов, матушка! Жалуйте к нам, милости просим! Уж мы вас так примем, так примем!.. Мы духовных личностей уважаем. Соберем весь хутор, хлеба вам пять возов наведем! Только приезжайте!

Для Муры все это были странные вещи. Не понимала она, почему он так горячо приглашает, зачем она поедет на хутора, с какой стати они будут собирать народ и везти ей пять возов хлеба. Она молчала и глядела на него с нескрываемым недоумением.

– Ну, спасибо, спасибо! – сказал за нее Кирилл. – Нам, однако, пора ехать.

Марко повторил еще раз свое приглашение и вышел вслед за Кириллом. На крыльце он остановился и крикнул по направлению к Дементьевой хате:

– Эй, Митько! подъезжай сюда, да снеси-ка батюшке в кладовку два мешка, что в передку лежат.

Митько зашевелился, зануздал лошадемок, и через минуту «дилижан» запел всеми своими составными частями. Митько обогнул ограду и подъехал к калитке. Минут пять он возился с мешками, потом поправил сено в «дилижане», устроил места для сиденья. Появился Дементий в сером кафтане с узлом под мышкой. В узле были облачения. Он сказал, что отцу дьякону нездоровится. Они разместились и поехали.

Хутора, называвшиеся иногда Чубатовыми, потому что поселившиеся там вольные крестьяне жили на земле, прежде принадлежавшей помещику Чубатову, большую же часть известные просто под именем хуторов, лежали верстах в десяти от Лугового. Почти все хуторяне владели землей, кто дюжиной десятин, кто двумя десятками, а было двое, именно старый Ерема Губарь и Марко Шибенко, которые, владея каждый тридцатью десятинами, снимали еще в аренду у луговской помещицы по несколько десятков десятин. Несмотря на это, хуторяне не только не щеголяли красивыми и просторными домами, но половина из них ютилась в землянках, а другая половина успела построить мужицкие вальковые хаты с камышовой крышей, из двух малопоместительных комнат: черной и чистой – праздничной, с прибавкой чулана для малолетней птицы, новорожденных телят и поросят. Когда хуторян, которые почти все были богаты, спрашивали, почему они не построят себе хороших домов, они отвечали:

– Некогда нам возиться! Да нам что! Мы привычны к своим землянкам. В большом доме семья раздробится по разным углам – сумно²⁹ как-то. А в малой земляночке все в куче, жмемся друг к дружке, оно и весело, и тепло!

Зато при небольших хатах стояли высокие засеки, обширные сараи для домашнего скота, для зимовки овец, для птицы, словом, для всякой худобы³⁰. Можно было подумать, что настоящим хозяином здесь была именно эта худоба, а люди при ней жили в качестве смиренных и невзыскательных прислужников и ютились в неблагоустроенных хатах и землянках.

Едва только «дилижан» поднялся на возвышенную плоскость, по которой шла широкая дорога, как среди бесконечного поля вырисовались Чубатовы хутора. Можно было сосчитать четыре десятка дворов с огородами, где торчали высокие скирды сена и соломы и грациозные фигурные стоги хлеба в снопах. При каждом дворе был колодец, и тонкие журавли с бадьями возвышались над ними, точно молчаливые стражи, призванные защищать от внешнего врага брошенный среди степи одинокий хутор.

Через полчаса они уже миновали несколько землянок и подъехали к хате Марка Андреевича. Хата эта ничем не отличалась от других, только постройка для худобы была здесь повнушительнее да ярко желтела под солнцем обширная новая засека. Во дворе толкались человек двадцать мужиков и баб в обыкновенных рабочих костюмах. Видно, пришли сюда прямо с токов, устроив себе маленький праздник. Едва только Кирилл вошел во двор, как вся гурьба стала поочередно подходить к нему за благословением.

– Новый батюшка! – говорили они между собой. – Да и молодой же какой! – прибавляли бабы и почему-то громко вздыхали.

Затем Марко пригласил его в хату. В тесной хате с низеньким потолком и маленькими окнами за длинным четырехугольным столом сидело с десяток мужиков, большую часть почтенного возраста. Это были главы хуторских семейств. Они встали и вышли из-за стола. Кирилл перекрестился к мрачным образам, повешенным в самом углу, и поклонился присутствующим.

– Здравствуйте! – сказал он, обращаясь ко всем.

²⁹ Сумно (укр.) – грустно, уныло.

³⁰ Худоба (укр.) – скот, скотина.

В ответ послышался неопределенный гул ответного приветствия. Началось подхождение к руке. Вслед за тем из-за печки вышла баба, стройная, краснощекая и нарядная, в шелковом очипке³¹ и цветной спиднице³².

– А вот это моя баба! – сказал Марко.

Маркова баба тоже взяла благословение.

– Так приступим! – сказал Кирилл.

Дементий развязал узелок и подал ему облачение. Мужики глядели на него с большим любопытством и размышляли о том, какие нынче молодые попы пошли. Когда Кирилл облачился, все вышли во двор, и здесь, под палящими лучами южного солнца, перед столиком с миской, наполненной водой, совершилось освящение новой засеки Марка Шибенка.

– А теперь пожалуйста закусить, чем Бог послал! – сказала Маркова баба.

Кирилл принял предложение и первый вошел в хату. Здесь уже все преобразилось. Стол был накрыт белой скатертью и уставлен мисками и тарелками с жареным окуном и постными пирогами. Два увесистых штофа водки премировали над всеми съестными снадобьями.

– Просим покорно вон туда, батюшка! – сказала хозяйка, указывая на место в углу под иконами, самое почетное место, куда обыкновенно сажают наиболее уважаемых гостей.

Кирилл сел, а рядом с ним поместился Дементий; вокруг стола сели душ пятнадцать мужиков и между ними всего две бабы.

– Спервоначалу водочки выкушайте! – сказал Марко, вместе со своей бабой не участвовавший в трапезе, и налил Кириллу изрядный стаканчик водки, а затем и всем гостям. Все выпили по полной, а Кирилл отхлебнул четверть рюмки и поставил ее.

– Э, батюшка! как же так? Надо всю выпить! – сказал убеждающим голосом хозяин.

– Нет, не надо! – сказал Кирилл. – Больно велика рюмка!

– Это мне обидно! Тогда и засека моя не будет полная! Это уже всему миру известно!

– А о чем же мы Богу молились, хозяин? Не о том ли, чтобы засека была полна? – серьезно спросил Кирилл.

– Оно, конечно, это само собой!..

Мужики с серьезным видом уставились в тарелки и молчали, только Марко повторял свое: «оно, конечно». Но через минуту его смущение прошло, и он сказал:

– А теперь и по второй, чтобы и в предбудущие времена засеке моей Бог зерно давал!

При этом он наполнил стаканчики. Дементий уже протянул руку, чтобы взять свой, но в это время Кирилл сказал:

– По моему мнению, человеку одной рюмки довольно!

Мужики удивленными взорами переглянулись друг с другом. Дементий отдернул руку от стаканчика и стал гладить ею свою роскошную бороду. Но хозяйка приняла эту речь за шутку и промолвила:

– А ну, батюшка, еще стаканчик выкушайте, а то без вас и другие не пьют!

– Зачем же я стану пить, когда мне это неприятно и вредно? Притом же священнику и не идет пить этого.

– А у нас батюшки всегда здорово пьют! – вставил один из гостей.

Некоторые на это одобрительно промычали; другие же, как бы смутно почувствовав неловкость сказанной фразы, сконфузились.

– А по-моему, какой же это батюшка, ежели он с нами выпить не желает? – выпалил другой гость.

На это все ответили глубоким молчанием.

³¹ Очіпок (укр.) – чепец, головной убор замужних женщин.

³² Спідниця (укр.) – юбка.

– А как вас зовут и где ваша хата? – спросил Кирилл, обратившись к автору последнего изречения.

– Зовут меня Сидором Товкачем, а хата моя, батюшка, ежели будет ваша милость пожаловать к нам, – третья от Марковой хаты! – ответил мужик.

– Ну, так я и буду знать и в хату Сидора Товкача никогда уже не зайду! Пить водки я не умею – значит, я ему не батюшка!

Товкач покраснел до ушей и до такой степени был подавлен, что не нашелся, что сказать. Кирилл продолжал:

– А прочим, кто и без водки меня за батюшку почитать согласен, я расскажу, почему я водки много не пью. Не пью я ее оттого, что дорожу своим здоровьем, хочу долго на свете прожить, да притом всегда быть умным человеком. А водка, ежели ее пить больше, чем следует, здоровью вредит, жизнь сокращает. Тебе назначено прожить семьдесят лет, а ты пьешь много водки и проживешь только пятьдесят. Ты умный человек и все тебя уважают, а от водки твой ум тупеет, туманится, и смотришь – из умного ты стал дураком, и все над тобой смеются. Так рассудите: есть ли мне какая-нибудь выгода пить ее?

– Да так оно и выходит, что выгоды никакой нет! – подтвердил кто-то.

Смущенные хозяева больше никому не предлагали водки, решив, что настоящая пирушка будет после отъезда батюшки.

После того как был съеден сладкий пирог со сливами, Кирилл встал, а за ним и все поднялись. Когда он вышел из хаты, пошли тихие разговоры:

– Вот ученый так истинно ученый, даром что молодой! И серьезный какой! А наш-то Товкач, можно сказать, прямо в ступу попал! Необразованность!

Когда Кирилл, сопровождаемый Дементием, собирался сесть в «дилижан», к нему подошел Сидор Товкач и почтительно снял шапку.

– Прошу прощения, батюшка! – смущенно проговорили он. – Так это выпалил я по необразованности своей... А чтобы чувствовать, так ей-богу же нет!

И он попросил у Кирилла благословения.

– Приезжайте ко мне, Сидор, с вашими земляками, мы потолкуем! Вот у вас грамотных мало, школы нет, а на водку денег много тратите... Народ вы все с достатком!..

Сидор выслушал это приглашение в почтительном молчании.

Обратно повез их уже не сам Марко, а подросток из его работников.

– Ведь они настоящие дети! – сказал Кирилл, обращаясь к Дементию, который сидел рядом с ним. – Как дети, они верят всему: и хорошему, и дурному. Поэтому надо не пропускать ни одного случая сказать им хорошее!.. Не правда ли, Дементий Ермилыч?

– Это само собой! – ответил Дементий, с одной стороны, польщенный тем, что ученый настоятель с ним в рассуждение вступил, а с другой стороны, искренно сожалевший, что не мог остаться в Марковой хате. «То-то они теперь расхваливают нового батюшку, да при этом дуют штоф за штофом!» – думал он с сердечным сокрушением.

VIII

– Ну, теперь нажмем! Теперь седмица отца Родиона пойдет! – сказал дьячок Дементий дьякону Симеону Стрючку в субботу во время вечерни.

– Уж действительно, Дементий Ермилыч, приходится нажимать! Этакая богатая неделя! Ежели бы это была Родионова седмица, у нас в кружке на малый случай сорок карбованчиков было бы. Где ж таки – венчанье, трое похорон, засеку святили, старуху Мирошничиху маслособоровали – все требы важные!.. А у нас четырнадцать с полтиной!.. Стыдно сказать! Прямо стыдно сказать!

Одним словом, младший причт луговской церкви был недоволен первой седмицей нового настоятеля. Был ли доволен ею отец Родион, этого пока еще никто не знал. Он принял доклад дьякона о состоянии кружки за неделю молча и даже ничего не ответил на вопрос Дементия: «Как вам это покажется, отец Родион?». По-видимому, он, как человек основательный, еще не составил себе определенного взгляда на новое явление.

Зато по деревне ходили самые разнообразные и оживленные толки. Антон, благополучно отделавшись карбованцем за венчанье, рассказал землякам, как было дело.

– Видишь, через тебя мы согрешили, осудили его, – говорили ему мужики, – а он вот какой!

В воскресенье приезжали к обедне хуторяне и рассказали кое-кому из луговских обывателей о том, что произошло у Марка при освящении новой засеки. Это еще более оживило толки о новом настоятеле.

Надо, однако, сказать, что деревня и не думала приходить к каким-нибудь определенным заключениям. Толки ограничивались большею частью фактами.

– Мирошничихе сказал: «Ты, – говорит, – старуха выздоравливай; встанешь, заработаешь, поквитаемся, а ежели помрешь, так на том свете сочтемся!» – сообщал кто-нибудь.

– Ишь ты какой!.. На том, говорит, свете! Гм... – замечали слушатели.

– Как хоронили Прошку, Авдеихино млада, а Авдеиха ему тычет это четыре пятака. А он посмотрел это, что в Авдеихиной хате полтора горшка да полрогача³³ стоит, взял, да и говорит: «Ладно, спасибо, только я тебе сдачи дам!». Пошарил он в кармане и сует ей полтинник: «Ты, – говорит, – старшему пузырю рыбного жиру купи и пускай пьет, потому он сильно золотушный».

– Чудасия, да и только! Умный человек этого не сделает.

– Это смотря!.. Из какой, значит, мысли человек выходит.

– А чубатовцам приказал две рюмки водки пить. «Больше, – говорит, – невозможно».

– Две рюмки мужику мало. Плевое дело!

– Даже чересчур мало! Например, крестины. Что ж, двумя рюмками разве можно окрестить? Или опять свадьба... Нет, невозможно!..

Это было осенью. День стоял пасмурный, собирался дождь. Кирилл в это время был на требе. Марья Гавриловна только что поднялась с постели и едва кое-как оделась. В комнату вошла Фекла и объявила:

– Какая-то-сь коляска подъехала! Видно, городская!

У Марьи Гавриловны сердце сильно забилося. Она выбежала на крылечко.

– Мамочка!

И через три секунды она была в объятиях Анны Николаевны Фортификантовой.

– И это вы решились поехать одна в такую даль?

– Во-первых, и не даль, каких-нибудь пятьдесят верст, а во-вторых, и не одна – с кучером!

Оказалось, что мать соскучилась по дочери и приехала навестить ее. Мура несказанно обрадовалась ей, начала хохотать, прыгать, каждую секунду подбегала к ней, обнимала ее и кончила тем, что заплакала.

– Это, мамочка, от радости!

Анна Николаевна осталась довольна квартирой. Ее несколько оскорбляла Фекла, которая сейчас же вступила с нею в разговор, объявила, что она «бедная удова» и служит всем священникам. Когда же Мура вышла, она подошла ближе к Анне Николаевне и сказала таинственным голосом:

– Уж вы, матушка, обратите внимание. Жить не умеют. Другой бы батюшка уже бы пару коров да десяток овец имел, птица бы своя была, а у них нет. Срам сказать: муку покупаем!

³³ Рогач – кочерга, ухват для горшков.

Батюшка – и вдруг муку покупает! Никогда этого у нас не бывало. Я при трех настоятелях была, и всегда даже продавали муку, нет, вы их научите уму-разуму!

Как ни обидно это было для Анны Николаевны, тем не менее она приняла к сведению сообщение Феклы. Как это в самом деле, живя больше двух месяцев в приходе, который считается богатым, ровно ничего не приобрести?

– Ну, расскажи же, как тебе живется! – сказала Анна Николаевна.

– Живется хорошо. Я довольна! – ответила Мура.

– Нет, ты объясни, как именно. Как время проводишь и прочее...

– Время провожу больше с книжкой. Кирилл – то в церкви, то на требе, то в школе, то так по деревне ходит.

– И ты сидишь одна?

– Ну да, а что ж такое?

– И знакомых никого? Здесь же есть помещица. Я думаю, он сделал ей визит.

– Кто? Кирилл? Ни за что. Он сказал: «Будет дело – пойду; а так – я не знаю, что она за птица». С семейством священника я познакомилась. Шесть девиц. Совсем не интересно.

– Выходит, что ты умираешь от скуки.

– Кирилл все говорит мне: «Знакомься с мужиками; тут что ни шаг, то интересный тип!».

Анна Николаевна рассмеялась и подумала: «Нет, у него действительно гвоздь в голове!».

Пришел Кирилл и выразил удовольствие по поводу приезда тещи.

– Вот вы увидите, как здесь хорошо, в деревне, и сами сюда переедете, – сказал он.

– Ну уж это извините! Этого никогда не дождетесь! – с достоинством ответила Анна Николаевна.

Вопрос о месте жительства в ее глазах отождествлялся с вопросом о повышении и понижении. В столицу – повышение с увеличением доходов; в деревню – понижение с уменьшением таковых; поэтому предположение Кирилла заключало в себе элементы кровного оскорбления.

В течение дня Анна Николаевна воочию убедилась, что у них действительно все купленное и что Фекла была права. За всякой мелочью, которая нужна была для кухни, – масло, лук, картофель – Фекла бегала в лавочку; сливки, поданные к чаю, стоили почти столько же, сколько стоят они в городе!

– Послушай, мой дружок, ведь это очень дорого все стоит, ежели каждую мелочь покупать! Разве у вас такие большие доходы?

– Кирилл отдает мне все, что получает, до копейки.

– Ну и сколько же примерно в месяц?

– Рублей двадцать, двадцать пять принесет.

– Это весь доход? Хорошенький приход, нечего сказать! Спасибо, наделили... Это за академию, за магистрантство! Ну а проживаете вы сколько?

– Рублей пятьдесят!

– Откуда же берете?

Марья Гавриловна смешалась и покраснела.

– Все равно, мамочка! Наши доходы потом увеличатся... Мы наверстаем!..

Анна Николаевна смотрела на нее сначала с недоумением, а потом вдруг ее осенила мысль.

– Я понимаю! – гробовым голосом произнесла она. – Ты тронула капитал!

– Мамочка, так что же из этого? Ведь это начало, потом пойдет лучше, я пополню... Только ему, Кириллу, не говорите, мамочка. Он ведь не знает. Он живет как младенец.

Анна Николаевна ничего не возразила, но при этом воинственно сдвинула брови и решила «хорошенько поговорить» с зятем.

На другой день, когда Кирилл отправился на требу, Анна Николаевна приняла несколько визитов. Первой явилась супруга отца Родиона. Это была женщина порядочного роста, широ-

копелчая и толстая. Несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, она явилась в светло-розовой шелковой накидке и с голубой ленточкой в волосах, в которых, впрочем, не было ни одной седины. Надо, однако, сказать, что кокетство здесь не играло никакой роли. Матушка просто полагала, что ничем так не выразит почтение к приезжей соборной протоиерейше, как радостным костюмом.

– Уж вы извините, а я к вам с жалобой на вашего зятя, – почти сразу начала матушка. – Помилуйте! Новые обычаи завел; с прихожан ничего не спрашивает: «Сколько, – говорит, – дашь». Ну а они, известно, народ прожженный и дают грош! Поверите ли, мой муж на редкость получал шестьдесят рублей в месяц, а то больше – восемьдесят, сто, даже до ста двадцати. А теперь двадцать, двадцать пять. Чем же жить-то? У меня полдюжины дочерей!.. Оно, конечно, это от неопытности!.. Молодой человек, известно! Однако ж отчего бы не прийти к мужу, к отцу Родиону, совета испросить... Он хотя и настоятель, ваш зять, а мой муж – опытный!

Вслед за матушкой явились жены дьякона и дьячка. Эти даже не решались занять предложенные им места на стульях. Соборная протоиерейша нагнала на них робость. Тем не менее они в один голос объявили, что при тех скудных доходах, какие пошли с приездом нового настоятеля, жить невозможно.

– Я сама это понимаю, сама понимаю! – говорила в ответ Анна Николаевна, взволнованная всеми этими сообщениями. – Уж поверьте, что это так не останется. Я поговорю с ним. Ради дочери поговорю!

Жены, действовавшие, разумеется, по доверенности от своих смиренных мужей, ушли с надеждой в сердцах.

– Мне надо поговорить с тобой, милый зятек! – сурово сдвинув брови, сказала Анна Николаевна Кириллу. Наступали сумерки. Мура сидела на крыльце, перед чайным столом, дочитывая главу романа. Анна Николаевна воспользовалась ее отсутствием, чтобы начать и кончить этот, как она была уверена, неприятный разговор.

– Я к вашим услугам, дорогая Анна Николаевна! – сказал Кирилл благодушно. Он почти знал, о чем будет речь и в каком тоне.

– Не понимаю твоего образа действий!.. Не понимаю! Только два месяца живешь, а уж кругом тебя все недовольны.

– Не все, Анна Николаевна, не все!

– Все. Отец Родион крайне недоволен; дьячок и дьякон жалуются, что им жить не на что. Как же не все?

– А прихожане? Я думаю, что они вам не жаловались.

– Стану я разговаривать с твоими прихожанами! Да это и не важно, довольны они или нет. Помилуй, братец мой, ты распустил их! За требы они дают, сколько хотят, доходы причта втрое уменьшились. Я даже и объяснить этого не могу. Это просто – сумасшествие какое-то!

– Да ведь нам хватает! Слава Богу, и едим, и пьем изрядно, и одеваемся не в шкуры звериные!

Анна Николаевна взгляделась на него пристально, как бы желая постигнуть, в самом ли деле он младенец или только прикидывается таким.

– Послушай, Кирилл! – сказала она, понизив голос. – Ежели так жить на свете, не зная, что собственно у тебя под носом делается, так можно завтра и по миру пойти. Доходов у тебя – двадцать пять в месяц, а проживаете вы пятьдесят... Понимаешь ты?

Кирилл посмотрел на нее исподлобья, покраснел, как-то съежился и крепко скомкал полуриясы, которую перед тем играл.

– Это все Мура виновата... Я не знал! – проворчал он и, быстро поднявшись, прибавил: – Благодарю вас за сообщение, Анна Николаевна! Мы это изменим!

– То-то, изменим! Разумеется, изменить надо!.. Я не к тому, Кирилл, говорю, чтобы мне было жалко или что. Только ж это непременно надо, чтобы на черный день оставалось. Я только так, советую.

Кирилл смотрел в окно и молчал. Анна Николаевна, убедившись, что произвела сильное впечатление, вышла на крыльцо к чаю.

– Что ты так долго? – спросила ее Марья Гавриловна.

– Нет... Так... У меня, знаешь, башмак узкий... Пока натяну на ногу...

Кирилл долго оставался один в комнате. Когда, наконец, он вышел, было уже темно, и Анна Николаевна не могла разглядеть выражение его лица.

На другой день утром теща уехала в город, захватив с собою «капитал», чтобы его в банк положить.

– Это вернее будет, – сказала она Муре. Впрочем, она оставила четыре сотни «на всякий случай». Уезжая, она не сказала Кириллу ни одного наставительного слова, полагая, что и так довольно... Муре же она шепнула, отозвав ее в сторону:

– Я желаю тебе, Мария, счастья и надеюсь, что так оно и будет. Но в случае ежели что, сию минуту приезжай ко мне. Все, что у нас есть, тебе принадлежит!..

«Ничего мне не надо. Что бы ни случилось, я останусь с Кириллом!» – подумала Мура, и когда мать отъехала, она подошла к мужу, взяла его под руку и тихонько произнесла:

– Ты знаешь, Кирилл... я...

Она не договорила и покраснела. Кирилл нежно поцеловал ее руку и сказал:

– Бедная моя Мурка!..

IX

– Мура! Я хотел бы сосчитать, сколько нам стоит жизнь! Это любопытно! – сказал однажды Кирилл.

Мура догадалась, что это «мамочкино дело»; но видя, что он действует не прямым путем, а дипломатическим, решила и со своей стороны пустить в ход хитрость.

– Изволь! – сказала она, взяла карандаш и бумагу и принялась громко высчитывать. Пользуясь полным неведением Кирилла, она ставила на все цены наполовину меньше. В конце концов вышло, что они проживают около двадцати пяти рублей в месяц, то есть почти столько же, сколько зарабатывают. Получился даже какой-то остаток в несколько десятков копеек.

«Эге! значит, Анна Николаевна сказала это так себе, для остротки!» – подумал Кирилл и рассказал Муре о своем разговоре с протоиерейшей.

– Ты же видишь эти цифры! – чрезвычайно правдивым тоном ответила Марья Гавриловна.

Результатом этого разговора было то, что Фекла продолжала возмущаться хозяйственными порядками в доме настоятеля и все осталось по-прежнему.

Прошло уже четыре месяца с тех пор, как Кирилл поселился в Луговом. Отношения его к прихожанам и к причту настолько уже определились, что отец Родион, все время рассчитывавший, что «молодой человек в разум придет», однажды сказал отцу Симеону и Дементию:

– Нет, это не молодость, а загвоздка, други мои! Вот оно что!

– Именно, отец Родион, загвоздка, – согласились причетники, – и притом каверзная!

– Это надобно переменить! – объявил отец Родион.

– Обязательно! – подтвердил причт.

И в самом деле, надо было подумать об этом. Луговские прихожане не только пользовались новыми порядками, а прямо злоупотребляли ими. Люди далеко не бедные давали за большие требы пустяки. Иной за погребение совал гривенник. Сначала для причта это уравновешивалось тем, что в седмицу отца Родиона они драли вдвое больше. Но в последнее время

прихожане стали хитрить. Они всеми силами старались оттянуть требы так, чтобы они приходились на седмицу настоятеля, оставляя отцу Родиону только самые неотложные. В эту осень из двух десятков венчаний каких-нибудь пять-шесть пришлось на долю отца Родиона; остальные пошли к Кириллу. Обычай платить «сколько можешь» очень понравился луговским прихожанам.

Когда отец Родион убедился, что «тут не молодость, а загвоздка», он одел парадную рясу и камилавку и в таком официальном виде отправился к настоятелю. Уходя, он сказал матушке, что намерен «хорошенько поговорить с ним».

Первая увидала его Фекла. И парадный вид его, и самый этот визит показались ей настолько необыкновенными, что она побежала в комнаты и оповестила Кирилла:

– Отец Родион идет к нам! В камилавке и в новой рясе!

– А, милости просим!

Отец Родион, тяжело ступая и размахивая широкими рукавами рясы, взошел на крыльцо. Кирилл вышел к нему навстречу и ввел его в комнату. Поздоровавшись с Мурой, которая тут сидела, отец Родион грузно сел и сказал:

– А я давненько у вас не был, отец Кирилл!

– Давненько, давненько! Всего один раз и были, отец Родион!

– Да и вы у меня не более того, отец Кирилл!.. Оно, знаете, когда очень близко живешь и часто выдаешься, не замечаешь!

Сначала казалось, что отец Родион просто хотел нанести визит. Но, сделав еще два-три общих замечания, он как-то особенно громко откашлянулся в сторону и сказал:

– А я к вам, собственно, по делу, отец Кирилл!

– А что такое, отец Родион?

– Есть, есть такое дело... важное дело!

И сказав это, он взял свою бороду левой рукой и приподнял ее вверх, потом выпустил и опять то же самое проделал. Мура встала и тихо вышла в другую комнату. Она поняла, что стесняет.

– Отец Кирилл, так невозможно, невозможно! – прямо заявил отец Родион. – Сами посудите, у меня шесть взрослых дочерей, и никто их не сватает... Должен же я промыслить о них, чтобы их прокормить и одеть... Наконец и приданое кое-какое сколотить надобно... Ведь шестеро их, шестеро...

– Отец Родион?!

– Опять же возьмите вы для примера Дементия. У него тоже куча, надобно всех пристроить к ученью. Но я вам скажу, что даже и не об этом речь, а хотя бы о том, чтобы прокормить их домашними способами. И того нету, отец Кирилл...

– Отец Родион?!

– Нет, уж вы позвольте, отец Кирилл, дайте мне договорить. Знаете, я неразговорчив, мне трудно это, но ежели я уже начал, так сделайте милость! Четыре месяца я ждал, что вы сами поймете, ан вижу, нет. Ну что ж, думаю, отверзи уста! Вот и отверз. И вы на меня не сердитесь, отец Кирилл, но только, ей-же-ей, так невозможно! Невозможно, отец Кирилл!

– О чем это вы говорите, отец Родион? Вы словно на кого-то жалуетесь...

– Именно жалуюсь! На кого? На вас, на вас, отец Кирилл! Вы решились сделать нас нищими... До вашего приезда мы не только довольно зарабатывали на прокормление свое и прочее тому подобное, но еще и откладывать по малой дозе на черный день могли. Теперь же – страшно сказать! Даже на прокормление не хватает. В каких-нибудь четыре месяца вы... извините меня, отец Кирилл... вы распустили прихожан вконец, вы испортили приход!

– Испортил?

– Да, испортили. Луговое считалось лучшим из сельских приходов в целом уезде, а теперь... теперь это нищенский приход...

Отец Родион, вышедший из дому с твердым намерением быть сдержанным и говорить спокойно, не мог удержать равновесия, когда речь зашла о приходе. Пятнадцать лет приход был предметом зависти всего уезда, и вдруг какой-нибудь молокосос, только что напивший рясу, начинает мудрить и доводит его до такого состояния, что хоть бросай. И отец Родион возвысил голос:

– Нет, отец Кирилл, это надо оставить. Конечно, вы молоды, неопытны; но когда от этой неопытности страдают другие, можно и совета спросить.

– Вы укоряете меня за то, что я не назначаю цены за требы, позволяю платить, кто сколько может? – спросил Кирилл, так как отец Родион наконец остановился.

– Вот именно, именно! – поспешил подтвердить отец Родион. – В этом все зло, в этом корень всего зла.

– Но я иначе не могу, отец Родион, не могу. Это противно моей натуре, всем моим понятиям... Не могу...

– Позвольте, отец Кирилл, это несправедливо: вы один, а нас трое, и у каждого семейство. Мы себе жили во славу Божию, и никому от этого вреда не было. Вдруг приехали вы и говорите: «Нет, это вредно, что они живут на свете; надобно их сжить со света». Мы – коренные, отец Кирилл, а вы, извините меня, вы – случайный. Мы живем, как все живут, а вы хотите не только сами жить по-своему, но чтоб и мы по-вашему жили... Справедливо ли это?

Кирилл задумался. Он думал о том, до какой степени понятия его и отца Родиона различны. Ведь вот он даже не пытался объяснять старому священнику свое поведение. Пусть думают, что это каприз, неопытность, все что угодно, все это они могут понять! Но что это целая система, вытекающая совершенно из другого взгляда на священство, на призвание пастыря, этого даже и сказать нельзя было! Сказать это – значило открыто объявить войну.

– Может быть, это и несправедливо, отец Родион, но я иначе не могу, – сказал он задумчиво и с расстановкой.

– Как?! Хотя бы оно было и несправедливо, вы все-таки будете так поступать?

– Да, да, да!.. Я буду так поступать, отец Родион, потому что иначе я не могу.

– Но вы не одни. С вами связано наше благосостояние!

Кирилл встал и, несколько раздраженный, заходил по комнате.

– Послушайте, почтеннейший отец Родион! Я это предвидел и просил преосвященного назначить меня куда-нибудь в глухую деревеньку, где я был бы один; но он назначил меня сюда. Что ж, я не виноват, это не моя воля. А уж каков есть, таков и буду... Я вам говорю это откровенно, отец Родион, и вы поймете, что это так: приехал я сюда не для доходов. Доходы я мог бы иметь в городе получше ваших луговских, когда бы захотел. Подумайте-ка, отец Родион: человек академию хорошо кончил, любое место в городе мог бы взять, а поехал в деревню! Неужели же он не подумал хорошенько о том, что делает? И неужели после этого вы будете надеяться повлиять на меня своими доводами?

– Значит, брось всякую надежду – так, что ли?

– Нет, не так. Поезжайте к преосвященному и попросите, чтобы он перевел меня в другой приход, маленький. Можете прибавить, что я буду рад.

Отец Родион поднялся, взял шапку и палку и мрачно сказал:

– До свидания!

Выходя, он подумал: «Надо полагать, этот ученый академик – просто сумасшедший!». Дома он нашел, разумеется, и дьячка Дементия, и дьякона отца Симеона. Они сидели в передней. Волнение их было так сильно, что они не могли даже затеять разговора, а сидели молча и оба смотрели в стену. Когда вошел отец Родион, они оба встали и сейчас же догадались, что переговоры кончились неудачно. Если бы это было не так, отец Родион сейчас же заговорил бы, сказал бы: «А, вы здесь? вот это хорошо, кстати!». А теперь он прошел мимо – и хотя бы слово, как в рот воды набрал. Минуты через две он вышел без камилавки и сказал:

– Дементий, душа моя, сходи-ка заложу гнедого в бричку... А то моего работника нет дома. Поеду к помещице!

«Ага! – одновременно подумали дьяк и дьякон. – Дело не выгорело!»

Дементий пошел закладывать гнедого, а отец Симеон – помогать ему. Через пять минут после этого со двора отца Родиона выехала бричка, в которой сидел отец Родион в своей парадной форме, с просфорой в руке. На козлах восседал Дементий; бричка направилась к помещицкой усадьбе.

А отец Симеон пошел домой. Но уже через какой-нибудь час отец Симеон опять поспешил к отцу Родиону, потому что бричка вернулась обратно.

Это было во вторник, день неслужебный. Часов в шесть этого же дня к квартире настоятеля подъехал верховой, по-видимому, объездчик или приказчик из экономии, и, поклонившись Кириллу, который сидел на крыльце, подал ему небольшой запечатанный конвертик с надписью: «Милостивому государю отцу Кириллу Обновленскому». Кирилл раскрыл конверт и вынул оттуда визитную карточку, на которой под литографированной строчкой «Надежда Алексеевна Крупеева» было написано чернилами, мелким и твердым почерком: «убедительно просит отца Кирилла пожаловать к ней по весьма важному делу. Если надо, будет немедленно прислан экипаж».

– Да, у меня своих лошадей нет! – сказал Кирилл машинально.

– Так прикажете, батюшка, сейчас прислать? – спросил верховой.

– Если у госпожи помещицы важное ко мне дело, то разумеется!

– Так мы сейчас!

Верховой повернул назад и ускакал.

«Весьма важное дело? – раздумывал Кирилл. – Что бы это могло быть? Разве треба какая-нибудь? Тогда бы сказали. Надо же облачение взять и причетника».

– Как думаешь, Мура, что бы это могло быть такое?

– По-моему, вот что: отец Родион успел пожаловаться на тебя помещице, вот она и зовет тебя для внушения...

Кирилл рассмеялся.

– Что такое? Для внушения? Что же она за благочинный такой? Знаешь что, Мура? Я думаю, лучше не ездить к ней...

– А по-моему, надо ехать. Ты обещал, пришлют экипаж... Могут подумать, что ты струсил. Притом ведь это только предположение... Может быть, у нее в самом деле что-нибудь важное. А главное, Кирилл... Я давно хотела сказать тебе...

– Ну? что такое?

– Ну, вот ты познакомишься с нею и меня познакомишь – все-таки будет человек, с которым можно двумя словами перекинуться... А то ведь я совсем одна.

Экипаж помещицы не заставил долго ждать себя. Кирилл надел рясу и причесал волосы, которые успели уже сильно отрасти, и поехал. Помещичий дом стоял верстах в трех от церкви, особняком от села. Это был целый небольшой хутор, состоявший из построек для рабочих, для скота, для склада зерна, для кузни и т.п. Самый же дом, в котором жила помещица, едва мелькал своей почерневшей от времени крышей сквозь ветви садовых деревьев. Сад был огромный, но какой-то безалаберный и сильно запущенный.

Экипаж въехал в ворота, проехал садом и подкатил к крыльцу помещицкого дома. Какая-то чисто одетая баба, которую Кирилл не раз видел в церкви, стояла на ступеньках крыльца, кланялась и говорила: «Пожалуйте, батюшка, барыня вас дожидаются!». Когда Кирилл стал подниматься на крыльцо, баба взяла у него благословение. Затем она повела его в комнаты. Пройдя через несколько обширных комнат, почти пустых, он вошел в столовую и остановился на пороге. Небольшой круглый стол, накрытый белой скатертью и уставленный посудой, стоял посередине. На нем стоял кипящий самовар. За столом на высоком стуле сидел черноглазый

мальчуган лет шести, а рядом – сама Надежда Алексеевна Крупеева, которую Кирилл видел в церкви в первый день своего служения. Она тотчас же поставила на стол сливочник, быстро поднялась и пошла ему навстречу:

– Я очень рада, что вы согласились приехать! – сказала она звонким радушным голосом. Ее смуглое лицо было привлекательно, в темных глазах светился ум; почти высокого роста, стройная, она держалась ровно и даже, как показалось Кириллу, немножко задорно. В общем, она произвела на него благоприятное впечатление. На вид ей было лет тридцать.

– Мне сказали, что у вас важное дело!

– Да, если хотите! Прошу вас, садитесь, пожалуйста... Я налью вам чаю... Это мой сынишка!

Кирилл поклонился и сел. Мальчуган оставил чай и с удивлением глядел на гостя в длинной рясе и с длинными волосами.

– Это священник, мой милый! Он первый раз видит так близко священника! – пояснила хозяйка и продолжала: – Да, есть важное дело. Видите ли, у меня несколько часов тому назад был отец Родион, ваш помощник.

– И жаловался вам на меня! – с улыбкой сказал Кирилл.

– И жаловался на вас. Он говорит, что вы распустили прихожан, что с вашим приездом причт впал в бедность...

– И вы пригласили меня затем, чтобы сделать мне достоподобное внушение.

– Боже меня сохрани... и совершенно напротив! – ответила Крупеева, отчеканивая каждое слово.

Кирилл внимательно посмотрел на нее.

– Напротив? Значит, вы одобряете мой образ действий?

– Н-не совсем... Но об этом после. Отцу Родиону я обещала поговорить с вами. Он очень, очень был взволнован. Конечно, он на этом не остановится и поедет к архиепископу. Вы должны иметь это в виду.

– Я?

– Ну да.

– Я ничего не сделал противозаконного и никого не боюсь!

– Вот вы какой! Скажите, это правда, что вы кончили академию и очень учены?

– Что я кончил академию – правда, а что очень учен – разумеется, неправда.

Помещица поставила перед ним стакан чаю и указала на сливки и на хлеб:

– Пожалуйста, прошу вас!..

– Благодарю. Я привык пить чай с женой.

– Вы меня познакомьте с нею! Позвольте заехать к ней?

Кирилл поклонился и прибавил:

– Она будет очень рада! Ведь она одна здесь!

– Вот и отлично! Я завтра же буду у нее... Ну-с, а насчет вашего причта как вы полагаете? Думаете вы, что это неосновательная претензия?

– Я этого не думаю. Действительно, они теперь зарабатывают очень мало. Пожалуй, что им, при их семействах, и не хватает. Но я не могу допустить тех коммерческих приемов, какие практикуются.

– Знаете что? Можно было бы помочь горю... Если бы, например, выдавать причту постоянное, определенное жалованье?!

– Откуда?

– Ну, хотя бы из моих средств! Почему же вы на меня смотрите с таким изумлением?

– Да как же? С какой стати вам давать свои средства на подобное чуждое вам дело? Разве это не удивительно?

– Вот видите, какой вы! Первый раз у меня в доме, и уже обижаете меня.

Она сказала это с шутливой строгостью, как говорят с хорошо знакомыми людьми. Кирилл смешался. Он вообще был невысокого мнения о своем умении разговаривать с дамами и легко допускал, что в самых простых его словах могли отыскать то, чего он и не думал говорить.

– Извините, может быть, я не так выразился.

– Нет, нет, я пошутила, – поспешила заметить хозяйка, видя его смущение. – Я только хочу сказать, отчего вы не допускаете во мне искреннего желания помочь хорошему делу. Ну, хотя бы от скуки?!

Она рассмеялась. Кирилл возразил серьезно:

– Нет, не то. Я только не думал, что это дело вам покажется хорошим.

Они условились в другой раз произвести точный расчет. Теперь же было решено в принципе, что Надежда Алексеевна Крупеева назначит из своих средств определенное жалованье причту с условием отказаться от всяких доходов. Затем помещица обещала завтра заехать к Муре и познакомиться.

Кирилл возвратился домой в радостном настроении. Приехав сюда с единственной целью «поработать ближнему», он в глубине души страдал, видя, что плодом этой работы было недовольство его сотрудников. Теперь причины этого недовольства были устранены. «Я всегда думал, что на свете есть хорошие люди!» – размышлял он, а когда приехал домой, принялся расхваливать Крупееву перед Мурой. Мура была очень довольна, что завтра начнется знакомство с живым человеком.

Х

Надежда Алексеевна Крупеева уже около пяти лет жила безвыездно в Луговом.

Огромный, запущенный сад, в котором стоял каменный дом с потускневшими от времени стенами, с покоробившейся крышей, считался некогда образцовым. В нем были густые аллеи широко разросшейся сирени; немало насчитывалось тенистых уголков, тщательно возделанных зеленых полянок, поэтических беседок, задрапированных плющом и диким виноградом. Сад славился вишней-шпанкой, которая была известна и в губернском городе под именем «крупеевской» и бралась нарасхват. Немало в нем было яблонь и груш; водился даже виноград и возделывалась малина.

Все это было до освобождения³⁴, когда жил и владел Луговым отец Надежды Алексеевны, старик Крупеев, страстный хозяин, умевший извлекать пользу из земли и из людей. Особенною его любовью пользовался сад, для которого он держал ученого и дорогого садовника из немцев. Зато и уход был за этим садом «как за живым человеком». Сад был разделен на небольшие участки, и к каждому участку был приставлен человек, который своей шкурой отвечал за каждое деревцо, за порядок, чистоту и даже за плодородие земли в его участке.

Старики Крупеевы умерли лет через пять после освобождения. Огорчение свело их в могилу одного за другим. Имение перешло к сыну Андрею, который при новых порядках пошел по земской службе и был мировым судьей в уезде. При нем хозяйство из года в год шло на убыль. Этот болезненный и нервный человек любил природу, любил поля, заросшие зеленой травой, и желтеющую ниву, и тенистый сад, но любил все это как художник, способный по целым часам заглядываться на красивые пейзажи и совершенно неспособный возиться со всем этим. Огромное имение давало, разумеется, изрядный доход, но не было и половины того, что оно могло дать. Андрей этого не замечал, вполне довольный, что доходов хватает на все нужды. Половину он проживал, растрачивая деньги вполне безалаберно, ничего не приобретая и не доставляя удовольствия ни себе, ни другим. Другая же половина шла сестре, Надежде

³⁴ До отмены крепостного права в 1861 г.

Алексеевне, которая жила в Москве у обедневшей тетки по отцу, содержа на свои средства и тетку, и ее многочисленное семейство.

Надежде Алексеевне было двадцать два года, когда она получила известие о смерти брата. Андрей Крупеев умер тридцати шести лет от роду, позабыв жениться, и Надежда Алексеевна оказалась единственной владелицей огромного имения. Перемену эту она почувствовала с самой невыгодной стороны. До сих пор она получала от брата готовые деньги; теперь надо было думать о том, что делать с имением. Там не было никого, кому можно было довериться. Молодая девушка ничего в делах не понимала. В Луговое ее вовсе не тянуло: с восьми лет она привыкла к большому шумному городу, так как старики после освобождения безвыездно жили в Москве. Здесь она получила образование, сначала под строгим надзором отца, а потом на полной воле, потому что вполне зависевшая от нее тетка не смела при ней возвысить голоса и поневоле потакала всем ее прихотям.

Развитие ее шло капризно, находясь в полной зависимости от ее нервной и своеобразной натуры. При стариках она прилежно готовила уроки, вела себя тихо и скромно и переходила из класса в класс в числе лучших учениц. После их смерти затосковала и в течение целого года не брала в руки книжки и осталась на другой год в том же классе. В четырнадцать лет она как бы проснулась и вдруг, к удивлению тетки, оказалась девочкой живой и даже взбалмошной. Ее способности как-то вдруг обострились; явилась какая-то почти неестественная любознательность; она с одинаковым рвением набрасывалась на учебники и на всякого рода книги, какие попадались под руку. Она заставила тетку записаться в библиотеке и поглощала книгу за книгой до одурения. В семье тетки, где много было детей всех возрастов, она тем не менее чувствовала себя вполне одинокой. Это происходило оттого, что ее, как источник благосостояния всей семьи, на каждом шагу отличали, стараясь предоставить разные преимущества: лучший кусок, более дорогую одежду, более удобную комнату, постель помягче, и, кроме того, все семейство старалось выразить перед ней любовь и преданность. Впечатлительная девочка замечала это и мало-помалу усвоила взгляд на себя как на существо особенное и, во всяком случае, высшее, чем окружавшее ее потомство тетки. С течением времени из этого сознания вышло почти явное презрение к родне. Большую часть времени, свободного от гимназических занятий, она проводила в своей комнате наедине с книгами, к которым привязалась до болезненности. Знакомые тетки не интересовали ее, она почти не замечала их, а других приобрести она не имела возможности. И вот в семнадцать лет, когда она кончила гимназию и была уже почти совершенно сформировавшейся девушкой, она оказалась одинокой, со своей диковатой натурой, чуждавшейся какого бы то ни было общения с людьми, хаотическим мирозерцанием, в котором было все, кроме того, что было пригодно для жизни, с ясно осознанным презрением к людям, которые ее окружали и были единственными близкими людьми.

После гимназии началось томление. Гимназия отнимала у нее большую часть дня, и теперь она увидала, что у нее слишком много времени. Случайно завязались два-три знакомства, случайно же она попала на курсы, которые тогда только зарождались и вызывали много разговоров. Но знакомства ее не шли дальше первых. Тот взгляд на людей, который она усвоила себе в семье тетки, она невольно перенесла и сюда, смотрела на людей недоверчиво и ни с кем не сходилась. Курсы тоже мало удовлетворяли ее. Привыкнув учиться по книжкам, которые можно было прочитывать в один присест, она тяготилась той основательной медленностью, с которой преподавалась наука, распадавшаяся на отделы, части, лекции. Систематичность и последовательность возмущали ее. Она не могла без досады слышать обычную фразу, которой начиналась почти каждая новая лекция: «В предыдущей лекции мы остановились на том-то». Зачем остановились? Она не выносила этих остановок. Познакомившись на первой лекции с началом предмета, она хотела бы тут же, не вставая с места, исчерпать его до конца. Кончалось тем, что она подыскивала подходящие книги, зарывалась в них и охладевала к «курсу».

Одним словом, курсы, которые для других были откровением и в то же время служили вдобавок для сближения разрозненных людей, для нее оказались ничем и только раздражали ее.

Известие о смерти брата застало ее в состоянии полного недовольства собой и окружающей жизнью. Нервы ее были расшатаны. Не было никого, с кем бы она могла поговорить по душе, потому что она никому не доверяла и ни с кем не сблизилась. Она всем своим существом жаждала какой-нибудь перемены. С этим известием перемена сама собой приходила. Надо было что-нибудь делать с именем.

К этому времени старший сын тетки успел уже побывать в полку и выйти оттуда в отставку в чине подпоручика, против всякого, однако ж, желания. Он-то и почувствовал вдруг влечение к сельскому хозяйству и поехал на юг, в Луговое.

Потомство тетки к этому времени было рассортировано по разным углам, тот женился, та вышла замуж, кто был определен в пансион. В доме сделалось еще скучнее, чем прежде. Хотя она и очень мало соприкасалась с жизнью этого семейства, но, по крайней мере, в доме был несмолкаемый шум, который не мог миновать ее и к которому она привыкла. И в это именно время ей пришла в голову мысль о том, что есть еще огромный мир, которого она совсем не знает, и, может быть, этот мир придется ей больше по вкусу, чем тот, который окружал ее. Не привыкшая ни у кого спрашиваться и ни с кем советоваться, она смотрела на каждую свою мысль как на решение. В один миг было решено, что она поедет за границу, а через две недели она уже была в Германии, конечно, в сопровождении тетки, которой она почти приказала ехать. Тетка не могла ослушаться, потому что это значило бы оставить на произвол судьбы не только племянницу, но и ее доходы.

Около двух лет Надежда Алексеевна таскала за собой старуху, останавливаясь недели на две, на три то в Берлине, то в Гамбурге, то в Вене, то перескакивая вдруг в Мадрид, а оттуда возвращаясь в Афины. Все это было ново и интересно, но ни одно впечатление не западало в душу молодой девушки настолько, чтобы всецело овладеть ею, увлечь ее в ту или другую сторону. Она все еще никому и ничему не принадлежала, находясь во власти собственного одиночества и глубокого недовольства. Старухе была не по силам эта порывистая скачка из одного угла Европы в другой, и она стонала, но втихомолку, боясь, чтобы взбалмошная племянница не сказала ей: «Ну, так поезжайте в Москву, а я одна останусь!». Поэтому она искренно обрадовалась, когда они засели в Риме на целых шесть месяцев. Надежда Алексеевна с непонятным и пришедшим так же внезапно, как и все другие ее увлечения, жаром посещала музеи и окрестности вечного города, изучая то и другое с основательностью ученого, со справками и руководствами под рукой. Казалось, этот новый для нее мир давно минувшего поглотил ее, но этого увлечения хватило только на полгода, а там опять пришли недовольство и апатия. Старой тетке пришлось опять укладывать вещи.

Они поехали в Париж.

Тут кончается история странствования Надежды Алексеевны Крупеевой. То, что произошло в Париже и после него, может быть рассказано в двух словах: до двадцати четырех лет она не думала о любви; в ее голову не западала мысль о том, что она может принадлежать какому-нибудь мужчине. Казалось, что в ее жилах текла холодная кровь – до такой степени ей чужда была эта мысль. Случайные ухаживатели, которые попадались ей в Москве и за границей, казались ей нахалами и ничего от нее не слышали, кроме дерзостей. Но это проснулось в ней так же внезапно, как и все, что она переживала, и овладело ею с такой силой, какую только могла проявить ее нервная и почти дикая натура. Это совпало с ее знакомством с m-g Тенар, который оказался на два года моложе ее и по внешности обладал всеми данными для того, чтобы сделаться предметом первой любви двадцатичетырехлетней девушки, никогда не любившей. Высокого роста, изящный, с открытым, очень красивым лицом, смуглая бледность которого как бы говорила о пережитой душевной борьбе, юный инженер подкупал своею веселостью и искренностью. Старая тетка решительно не могла понять, как это могло случиться,

что через каких-нибудь три недели знакомства Надежда Алексеевна Крупеева превратилась в m-me Тенар и уже жила своим маленьким домом в одной из отдаленных улиц Парижа.

Не много понимал в этой истории и m-r Тенар. Красивая русская девушка остановила его внимание, и он совершенно искренно стал ухаживать за нею. Видя ее крайнее увлечение, он предложил ей замужество, потому что она была очень богата. Родные его вполне разделяли этот взгляд и одобряли. Это была буржуазная семья среднего состояния, перебивавшаяся на каких-нибудь три тысячи франков годового дохода. Вступление в семью богатой русской помещицы было всем по вкусу. Едва они поселились втроем, то есть Надежда Алексеевна с мужем и тетка, как началось постепенное переселение к ним всех Тенаров. Тетка приходила в ужас, разводила руками, но ничего не могла поделать, потому что племянница была неприступна. Надежда Алексеевна как будто ничего не замечала. Она всецело отдавалась своему новому чувству, постоянно проводя время с мужем, не отпуская его ни на шаг. Париж, который они осматривали вдвоем, для нее весь сосредоточивался в любимом человеке. В театре ли, в экипаже ли, во время прогулки, она, казалось, глядела не на окружающий мир, а на отражение этого мира в глазах ее мужа. На новую родню она смотрела поверхностно и как будто не обращала на нее внимания. Это продолжалось около года. Она родила сына и встала с постели совсем другим человеком.

Словно этим актом рождения она закончила цикл своей любви; она поднялась трезвая, холодная и сумрачная и сразу с невыразимым презрением отнеслась к семейству Тенаров, похозяйски населявшему ее квартиру. С какой стати? Что они ей, эти чужие люди, с которыми у нее нет ничего общего, кроме ее состояния, которое они, к ужасу тетки, так развязно делили? Более других чужим показался ей муж. Она только теперь, когда глаза ее прояснились, взглядела его и увидела перед собой обыкновенного, ограниченного, расчетливого буржуа, для сочувствия которому в ее сердце не было ни одной струны! Результатом этого открытия был большой скандал. Она попросила Тенаров оставить ее в покое, взяла ребенка и уехала в Россию, не сказав даже мужу об этом ни слова. Она приехала вместе с теткой прямо в Луговое, где нашла управляющего-кузена, изнывавшего от *delirium tremens*³⁵, отправила его вместе с теткой в Москву, пообещав помогать им, и поселилась безвыездно в старом доме посреди запущенного сада. Здесь она вся сосредоточилась на воспитании сына, ни с кем не знакомилась, никого не принимала. Через полгода после отъезда ее из Парижа в Луговое приехал молодой Тенар; она приняла его вежливо, позволила прожить в отдельном флигеле неделю, затем снабдила его деньгами и попросила больше не приезжать. Потом она вошла в деятельную переписку с одним московским адвокатом и ко времени знакомства с Кириллом со дня на день ждала развода.

Через неделю после знакомства Кирилла с помещицей отец Родион получил от помещицы приглашение пожаловать к ней. Он ехал туда с надеждой, что Крупеевой удалось уломать Кирилла. Причт ожидал у него, лелея ту же надежду. Но не прошло и часа, как он возвратился домой гневный и красный от волнения. Дьяк Дементий даже не посмел расспрашивать, а просто пошел к бричке и стал помогать кучеру выпрягать лошадь. Дьякон же, отец Симеон, отошел к сторонке и, скрестив на своей впалой груди худенькие ручонки, смиренно смотрел на Дементия и кучера. Вот одна из дочерей отца Родиона вынесла стул и поставила его во дворе, неподалеку от порога. Вышел отец Родион, одетый уже по-домашнему, то есть в куртке и клетчатых штанах. Он сел и так посмотрел на дьякона и Дементия, что те сейчас же подошли к нему.

³⁵ *Delirium tremens* (лат.) – белая горячка.

– Радуйся, Христово воинство! Тебе великая корысть будет! – сказал отец Родион, не глядя на них и таким тоном, что воинство и не думало радоваться.

– Н-да... Уж должно быть, что корысть?.. – с горькой иронией проговорил дьяк Дементий.

– А как же? Не верите? А вот же вам: помещица из своих средств дает нам постоянное жалованье. Мне и настоятелю по пятидесяти рублей в месяц, отцу Симеону тридцать, а тебе, Дементий, двадцать пять. Довольны вы? а?

Причт, очевидно, не совсем понял и стоял в молчаливом недоумении.

Что можно было, в самом деле, сказать на это, когда луговской приход в самые слабые месяцы доставлял причту вдвое более, а в зимнее время, когда народ женился, выходил замуж, молебствовал и т.п., попадались и такие месяцы, когда даже дьяк Дементий зарабатывал до семидесяти рублей. Это была насмешка, обида, что угодно, только не серьезное предложение. Отказаться от дохода, от права запрашивать и торговаться – это значило отдаться в полную власть прихожанам и беспрекословно исполнять все требы.

Так как причт не отвечал на его иронический вопрос, да и ответ был ясен, то отец Родион больше не спрашивал, а прямо заявил:

– Завтра же еду к преосвященному... Завтра же! Что он тут мутит? По миру нас пустить хочет? Надо его подрезать!

Но тут возникло одно затруднение. Для того чтобы поехать в город, надо было не то чтоб отпроситься, а просто заявить об этом настоятелю. Отец Родион до того был озлоблен против Кирилла, что ни за что не хотел идти к нему и даже встречаться с ним. Он решил написать ему. Вынесли на двор чернильницу и бумагу, и он тут же, в присутствии причта и вдобавок еще матушки, которая вышла вся красная от негодования, написал:

«Почтеннейший и достолюбезнейший отец Кирилл! По домашней моей собственной надобности имею неотложную нужду в отлучке в губернский город. О чем почитаю себя обязанным уведомить ваше благословение. С почтением иерей Родион Манускриптов».

Письмо было запечатано в пакет огромной сургучной печатью и, по надписании полного титула, отправлено Кириллу с церковным сторожем. Прочитав это послание, Кирилл посмотрел на него как на простое извещение; ему и в голову не пришел тайный смысл этих простых слов. Сам он чрезвычайно был рад участию, которое приняла помещица в нуждах причта, и ему лично пятьдесят рублей в месяц казались прекрасным содержанием. Зато как он ликовал при мысли, что теперь уже в его приходе не будет торговли церковными требами и – что самое главное – причт не будет иметь никаких поводов к претензиям! Он решил предварительно поговорить об этом с отцом Родионом и объявить о новом положении прихожанам в церкви в ближайшее воскресенье.

На другой день, едва стало светать, отец Родион выехал со двора. Утро было холодное, дул изрядный ветер с севера. Отец Родион был в теплой кастановой³⁶ рясе с приподнятым воротником, который сверху был повязан темно-коричневым гарусным³⁷ шарфом, в высокой, вроде бобровой, шапке и в глубочайших калошах, на теплой подкладке, совсем по-зимнему. Он выехал парой, рассчитывая к обеду быть в городе, отдохнуть, собраться с мыслями, а завтра к архиерею. Из-за высоко приподнятого воротника видны были только круглые глаза с надвинутыми густыми бровями, сурово смотревшие прямо в спину кучеру. Собираясь к архиерею, отец Родион всю ночь не спал, сильно волнуясь и обдумывая ту речь, какую он смиренно поведет... «Положим!.. я не учен, – рассуждал он, – но я стар и ни в чем дурном не замечен. Должен он обратить внимание на мои слова».

³⁶ Кастор – сорт сукна.

³⁷ Гарус – род грубоватой шерстяной пряжи.

В городе он остановился у своего старого приятеля дьякона купеческой церкви, Авксентия Лучкова. Они были товарищами по семинарии, обоих их изрядно секли в старой бурсе³⁸ за леность и ради этого же порока обоих разом уволили, когда они, посидев по два двухлетия в философском классе, собрались воссесть там же на третье. Отцу Родиону удалось, впрочем, скоро пролезть в иереи, а Лучков очень скоро потерял жену, вследствие чего остался вечным дьяконом. Это был очень длинный и очень тонкий человек с красным лицом, на котором было убийственно мало волос. Отец Авксентий, в качестве вечного вдовца, сильно выпивал с горя, но имел настолько благоразумия, чтобы пить только две недели в месяц, когда бывали не его седмицы.

Манускриптов попал как раз в неседмичную неделю; поэтому сколько ни старался он втолковать приятелю, в чем заключается его горе, тот ничего не мог понять и каждые пять минут, прикладываясь к водке, спрашивал:

– Чего же ты, Родя, к преосвященному пойдешь? – А затем прибавлял: – Охота ж тебе! Я вот сколько диаконствую, а ни разу не был... Зачем? Вот теперь меня никто не замечает, и я живу себе, а ежели пойду покажусь на глаза, сейчас заметят: «Ах ты, красная рожа! подавай за штат!». Я того держусь мнения, что нашему брату надлежит стараться, чтобы его не замечали...

Но отец Родион держался другого мнения и на другой день к восьми часам утра был уже в приемной у архиерея вместе с толпой просителей. Он был в серенькой, довольно потертой рубашке, чтобы вернее обратить внимание на свою бедность, и в камилавке. Старые ноги его дрожали от робости, сердце ускоренно билось. По мере приближения того часа, как должен был выйти архиерей, туман все больше и больше застилал его мысли. По временам он как бы терял из памяти суть своего дела, и ему казалось, что на обычный вопрос преосвященного: «Что тебе, отец?» – он не будет в состоянии ответить ни одного слова. Когда же в соседней комнате, отделенной от приемной шелковой темно-коричневой портьерой, послышались мягкие звуки приближающихся архиерейских туфель, отец Родион почувствовал, что его тошнит от страха и даже слегка качнуло в сторону.

Наконец портьера раздвинулась и вошел преосвященный в шелковом светлом кафтане, в маленькой скуфье и с неизменными четками в руках. Покачивая своей седой бородкой, он начал справа и подошел к какому-то церковному старосте, который просил о похвальном листе. Отец Родион стоял третьим. Тут он заметил, что с той минуты, как архиерей вошел в приемную, у него исчез всякий страх, как это всегда бывает в самую критическую минуту. Осталось только утомление от пережитого волнения, и на место прежнего тумана выступило совершенно ясное представление о том, что он скажет архиерею.

Дошло и до него. Преосвященный пристально взгляделся в него и сказал шутивым тоном:

– Ты мне незнаком, отец. Видно, тебе ладно живется, что ко мне не заглядывал!

– Без нужды не имею обыкновения беспокоить ваше преосвященство! – твердо сказал отец Родион и прибавил: – Я священник Родион Манускриптов!

– Откуда?

– Из местечка Лугового!

– Местечко Луговое... Луговое... Что-то весьма знакомое, а не припомню. Что же тебе надобно, отец Родион Манускриптов? Фамилия у тебя хорошая, звучная!

– Из того самого местечка Лугового, ваше преосвященство, куда вам благоугодно было послать настоятелем священника Обновленского, из академиков, – пояснил отец Родион.

– Обновленский!.. Кирилл, Кирилл? – воскликнул архиерей, и лицо его оживилось приятной улыбкой. – Этого я знаю. Магистрант, умница такой и хороший христианин!

³⁸ Бурса – общежитие при духовном учебном заведении, где учащиеся содержались на казенный счет. В просторечии употреблялось по отношению к духовному училищу. До реформы в бурсах применялись телесные наказания.

Этот отзыв сразу поверг отца Родиона в уныние. Он никак не ожидал, что Кирилл на таком хорошем счету у архиерея. Напротив, он даже был склонен думать, что его, магистранта, недаром же послали в деревню, тогда как другие академики, и даже не магистранты, получают лучшие места в городе. Как он теперь начнет излагать свою жалобу? А преосвященный, как бы для того, чтобы окончательно смутить его, прибавил, обращаясь ко всем просителям:

– Этого юного священника я ставлю в пример прочим. Магистрант академии – и пошел по своей воле в деревню послужить единому от малых сих!

Просители сделали умиленные лица, причем каждый в душе рассчитывал, что это послужит к успеху его просьбы. Но отец Родион, который не спускал глаз с архиерея, заметил, что лицо его вдруг приняло озабоченное выражение. И преосвященный обратился к нему каким-то явно встревоженным голосом:

– Имеешь сообщить что-либо, его касающееся?

– Имею, ваше преосвященство!

– Пойдем, пойдем! Это меня интересует!

И преосвященный жестом повелел ему следовать за собой.

Отец Родион был вполне доволен. В отдельной комнате, где нет любопытных просителей, он не обинуясь расскажет все. Миновав портьеру, они прошли длинную и узкую комнату, уставленную одними стульями, потом повернули налево и вошли в гостиную с мягкой, развальной мебелью, с изящными резными столиками, со множеством картин на стенах, как показалось отцу Родиону, светского содержания. Архиерей здесь остановился, сел и указал место отцу Родиону, который не смел ослушаться и тоже сел, стараясь, однако ж, занять как можно меньше места.

– Ну, ну, расскажи, расскажи, отец! Очень меня занимает этот юный пастырь! – сказал архиерей, и его пухлые руки машинально занялись бесконечным перебиранием четок.

– Не могу ничего доложить утешительного вашему преосвященству! – начал с сокрушением отец Родион, как будто сердечно жалел именно о том, что должен разочаровать архиерея.

И он по порядку, самым подробным образом, изложил, в чем дело, изложил добросовестно, ничего не прибавив и не преувеличив. Преосвященный слушал с глубоким вниманием. Но лицо его не выражало ни сочувствия, ни порицания. Когда же отец Родион горестно описал последний эпизод с назначением жалованья от помещицы и остановился, преосвященный вдруг встал и задумчиво заходил по комнате. Отец Родион тоже поднялся и стоял, следя за прогулкой архиерея не только взорами, но и всем туловищем. Но вот преосвященный остановился.

– Так, так!.. – произнес он вдумчиво. – А скажи мне, но по чистой совести, иерейской совести, скажи, не внушает ли он прихожанам чего-либо такого смутного? Например, противного властям предрержающим?

– Нет, ваше преосвященство, нет! – поспешно и даже с жаром ответил отец Родион. – Этого греха на душу свою не приму. Чего нет, о том прямо и говорю: нет!

Опять лицо архиерея прояснилось. Он подошел к отцу Родиону и, положив руку ему на плечо, сказал простым, почти приятельским тоном:

– Тебя я понимаю, отец Манускриптов, понимаю, ибо сам я грешник. Но надо и его уметь понять. Удалились мы с тобой от апостольского жития, а он, этот юный пастырь, приблизиться к нему хочет. Ну, рассуди – с духовной точки зрения – худо ли он поступает? Нет, не худо, а хорошо. Помещица тоже благородная женщина, и ей надобно благодарность послать. А помирскому, конечно, ты обижен – признаю, признаю. Большое имеешь семейство?

– Шесть дочерей, ваше преосвященство! – ответил отец Родион.

– Шесть дочерей?! – с удивлением и даже с некоторым оттенком ужаса воскликнул архиерей. – Благословил же тебя Бог! Нечего сказать!

И они опять заходили по комнате.

– Да, да, да! – говорил он как бы сам с собою. – Столкновение двух начал: плотского и духовного! Ему бы в монахи пойти! Так нет, не пошел, жажда деятельности, с людьми хочет жить, на миру. Миссионер из него был бы чудесный. Да, да, да!.. Ну, чего ж ты, собственно, хочешь? а? – спросил он наконец, остановившись.

– Как вам заблагорассудится, ваше преосвященство! – смиренно ответил отец Родион.

– Ишь, хитрец! как заблагорассудится. Я тут ничего не придумую. Не могу же я ему предписать: оставь благие начинания и поступай дурно! Ведь это дурно, что духовные лица торговлю святыней производят, дурно ведь; но смотрим сквозь пальцы, потому что средств больших не имеем, а между тем – плоть немощна. Что же я с тобой поделаю?

– Ваше преосвященство! Он, то есть отец Кирилл, говорил: если будет угодно его перевести в другой приход...

– Нет, этого я не могу сделать! Это было бы похоже на наказание; а наказывать его мне нет причины. Разве вот что: могу тебя перевести!

При этом предложении отец Родион опустил голову и ответил убитым голосом:

– Не смею указывать вам, ваше преосвященство!

Тут архиерей взглянул на часы и сказал, что он заболтался. Отец Родион ушел, получив приказание ехать домой и дожидаться перевода. Хотел он замолвить слово о дьяконе Симеоне и о дьячке Дементии, но подумал, что не стоит мешаться не в свое дело.

В тот же день отец Родион Манускриптов возвращался на своей паре в Луговое со своими мрачными думами. Ехал он в город с надеждой отвоевать свое прежнее благополучие, а вышло Бог знает что. Пятнадцать лет он мирно процветал в Луговом; обзавелся большим хозяйством, построил прочный и просторный дом, и вдруг все это приходится бросить и идти на что-то новое и неизвестное, на старости лет вновь обзаводиться. И всему этому виной этот сумасшедший магистрант, который вдобавок каким-то чудом попал в милость к преосвященному. Не понимал он и не одобрял этой милости. Много лет он живет на свете, а не слышал об этих новшествах, без которых все хорошо обходятся.

Дома он застал поджидавший его причт.

– Добился я того, что меня переведут в неведомые места! – коротко и мрачно объяснил он им.

– А нам что выйдет? – спросил Дементий.

– Вам? Надо полагать, что ничего не выйдет!

Причетники сейчас же ушли. По дороге они рассуждали о том, что своя шкура дороже всего.

XI

Луговская зима была длинна и скучна. С конца ноября выпал снег и окрасил всю окрестность в белый цвет. Низкие мужицкие хаты утопали в снегу, который окутывал их чуть не до крыш. Но в декабре вдруг повеяло теплом, снег растаял, и дороги, и поля, все превратилось в грязь, в которой вязли и люди, и животные, и телеги. К Рождеству опять ударил мороз крепкий и сухой. Началась настоящая южная зима – бесснежная, ветреная, не столько суровая сама по себе, сколько кажущаяся такой южанину, привыкшему к долгому и жаркому лету. Мороз с короткими перерывами простоял до февраля, а там наступила ранняя оттепель, и кое-где из-под земли выглянула зеленая травка.

В церковном доме, где жил настоятель, было тепло. Дом был построен солидно, а топливо – камыш – было дешево. Вдовая Фекла то и дело таскала его в комнаты связку за связкой, а печи глотали его один за другим; камыш таял в них как снег.

Марья Гавриловна коротала дни однообразно, испытывая страшную скуку. С Крупеевой она познакомилась, но не сошлась. Для Надежды Алексеевны она оказалась слишком про-

стою. Два-три вечера, проведенных вместе, и уже было высказано все, что могли они сказать одна другой. Надежда Алексеевна с первой же встречи отнеслась к ней с формальной предупредительностью, о которую разбилась горячее стремление Муры сойтись поближе с «живым образованным человеком». Наивная дочка соборного протоиерея в глубине души своей делила людей на два лагеря: «образованных» и «простых» – и была уверена, что достаточно двум людям принадлежать к лагерю «образованных», чтобы тотчас же сойтись по душе. Но «образованность» обеих женщин до такой степени была различна, что они почти не понимали друг дружку! Мура кончила гимназию и прочитала десяток книг, про которые ей сказали, что это хорошие книги и что их непременно надо прочитать. Всю жизнь она была на попечении родителей, и замужество было ее первым самостоятельным шагом. Надежда Алексеевна прожила жизнь оригинальную, полную разнообразных впечатлений, многому научилась из книг и из жизни, а главное – составила себе определенные взгляды на жизнь и на людей. Поэтому она не могла отнестись к Муре иначе, как с холодной любезностью, а Мура к ней – с некоторым удивлением и даже робостью.

Тем не менее раз в неделю, большею частью по субботам, к церковному дому подъезжал экипаж, в котором сидела Надежда Алексеевна со своим мальчиком. С неизменно любезной улыбкой она, не выходя из экипажа, звала Марью Гавриловну, усаживала ее рядом с собой и увозила к себе. Они вместе обедали, а после вечерни являлся Кирилл, начинался разговор, который тянулся до полуночи. Во время этих разговоров Мура молча сидела, слушала обоих и скучала.

С января Марья Гавриловна начала готовить приданое своему будущему наследнику. Это наполняло ее дни. Протоиерейша прислала ей ручную машину, на которой она шила без конца.

Но Кирилл не скучал. Прежде всего он был рад, что остался на приходе один. Отца Родиона перевели на другой приход через месяц после его визита к архиерею. Но архиерей очевидно не спешил с назначением. Кирилл не тяготился массой работы и благополучно справлялся со всеми требами. Каждая треба служила ему поводом познакомиться с какой-нибудь стороной мужицкого быта. Он никогда не отказывался от приглашения остаться на похоронном обеде, явиться на закуску по поводу крестин и т.д. Здесь было столько случаев высказать перед прихожанами свой взгляд на тот или другой предмет. Мужики привыкли к этому и слушали его без того формально внимательного вида, который позволяет сейчас же забывать слышанное. Проповедей в церкви он не говорил. Он считал этот способ беседы малоудобным. Проповедь выслушивается при исключительной обстановке; для прихожанина она является не простой беседой пастыря с ним, а одним из моментов обедни, которую он выслушивает более или менее формально. Он искал беседы на житейской почве, при вполне житейской, обыденной обстановке.

Кириллу казалось, что работа его приносит плоды. Уже одно то его утешало, что торговля требами была совершенно искоренена. Прихожанин только заявлял о том, что у него в доме смерть, или родины, или свадьба, – и без всяких разговоров совершался церковный обряд. Заметил также Кирилл, что на обедах и закусках, где он присутствовал, хозяева не решались угощать больше, чем двумя рюмками водки, а гости и по второй пили, как бы слегка совестясь.

Конечно, он знал, что в его отсутствие они угощаются по-прежнему и что кабаки в Луговом все-таки прекрасно торгуют, но эта совестливость при нем все-таки утешала его; он рассчитывал на привычку.

Кроме неустанной работы по церковной службе, Кирилл отдавал много времени школе. Он посещал ее почти каждый день и очень скорбел по поводу того, что учитель относился к делу холодно и не любил своего занятия.

– Зачем вы сделались учителем, если это дело вам не нравится, если у вас нет призвания к этому? – спрашивал его Кирилл, когда тот в сотый раз высказывал перед ним недовольство своим существованием.

– Призвания? – отвечал тот. – У всякого человека есть призвание кушать хлеб, батюшка!

Кирилл принимался возражать против этого взгляда. Он горячо доказывал, что так жить нельзя, что такое рассуждение годится, пожалуй, для сапожного ремесла, но не для дела обучения темного человека. Он говорил, что так относиться к живому делу нечестно.

– Эх, батюшка! – возражал ему учитель. – Вот эти самые слова и я говорил восемь лет назад, а теперь пожил и вижу, что это чепуха. Жизнь – одна скука. Одно только и есть средство – жениться, взявши десятин двести земли, да заняться хозяйством.

Учителю, Андрею Федоровичу Калюжневу, было лет тридцать. Происходил он из городской чиновничьей семьи средней руки, учился в гимназии, но при переходе из шестого класса в седьмой споткнулся и бросил. Года три он все готовился и собирался то в военную службу, то в университет, то на фабрику в качестве рабочего. Но кончилось тем, что он пошел в сельские учителя, так как это оказалось самым простым и легким. О деревне он не имел понятия, но отправлялся туда не без идейной загвоздки. Кое-что слышал он и о народе, и о бескорыстной службе на поприще просвещения меньшего брата, и ему, тогда еще очень юному, пришлись эти идеи по душе. Но действительность оказалась скучной; идеи, как взятые с ветру, скоро и выветрились, и Калюжнев с течением времени превратился в работника из-за куска хлеба, не понимающего своего предмета, скучающего своим ремеслом и ищущего перемены.

Кирилл охотно посещал помещицу. Надежда Алексеевна всегда принимала его с живостью и даже с увлечением. Она всегда искала в жизни чего-нибудь выдающегося, а этот сельский священник, настолько образованный, что с ним можно было вести теоретические споры, священник, ведущий борьбу с теми самыми пороками, которые отталкивали и ее от духовных лиц, священник, стремящийся воплотить в жизнь идеи, которые и ей казались симпатичными, был для нее целым открытием. Сначала она отнеслась к нему как к явлению только интересному, но смотрела на него подозрительно и все ждала, когда же, наконец, он попросит у нее даровой зимовки для своих коров, или десятину плавни для выкоса сена, или вообще какое-нибудь даяние, к чему приучили ее отец Родион и его прежний товарищ. Но Кирилл ничего не просил. Однажды она даже спросила его, не нуждается ли он в чем-либо по хозяйству, и предложила свои услуги.

– У меня и хозяйства-то нет, – ответит Кирилл, – а если бы и нуждался, то у вас не попросил бы!..

– Вот как! Почему же?

– А вот видите, у нас с вами, слава Богу, порядочные отношения, а чуть я от вас приму материальную услугу, уж сейчас буду зависеть от вас, и вы уж непременно хоть на одну йоту станете уважать меня меньше.

Надежда Алексеевна, что называется, «занялась» оригинальным священником. В те вечера, которые они проводили втроем, где Мура являлась как бы ассистентом их беседы, она заставляла его высказывать свои взгляды на жизнь и незаметно, по частям, рассказала ему всю свою историю.

– Знаете что? – откровенно заявлял Кирилл, выслушивая от нее рассказы про московскую и заграничную жизнь. – Вы не жили еще, а только капризничали!

И он развивал ей свою теорию. Жить можно только в деревне, где и природа настоящая, и люди настоящие, и нужда настоящая. Жить без пользы для кого-нибудь – бессмысленно и обидно. У каждого найдется где-нибудь маленький уголок, где он может принести пользу. Нет надобности стремиться во что бы то ни стало сделать грандиозное дело: что-нибудь полезное сделай, и уже в твоём существовании есть плюс.

– Скажите, отец Кирилл, отчего мне иногда кажется, что вы первый вполне искренний человек, которого я встречаю в жизни? – спросила его однажды Надежда Алексеевна.

– Извините-с! Искренние люди есть на свете, я сам их встречал немало! – горячо возразил Кирилл. – Вы их не замечали, потому что смотрели на людей свысока и поверхностно. Может быть, я первый человек, которому вы сделали честь взглянуться в него как следует.

Наступила весна. В апреле Мура уже перестала ездить к Крупеевой. Ее положение сделалось серьезным. Написали в город Анне Николаевне; она приехала и привезла с собой акушерку. Едва протоиерейша переступила порог церковного дома, как сделалась мрачнее ночи. Опытным глазом она сейчас же поняла, что благосостояние молодой четы в течение почти года несколько не улучшилось. Кое-где видны были следы бедности. Взгляд ее, привыкший останавливаться на мелочах, впился в порядочную дыру в вязаной скатерти, которою был накрыт стол. В обстановке ничто не изменилось, но в ней и не прибавилось ни одной вещицы. Все стояло так, как было устроено для первого обзаведения, то есть скудно, – ничего, кроме предметов первой необходимости, как в номере плохой гостиницы: столы, диван, кровати, комоды, несколько стульев, зеркало на комод, настенные часы и иконы в углу. Она обошла двор, чулан, два сарая – всюду было пусто. На огороде сиротливо лежали несколько связок камыша – это осталось от зимы; в сарае не оказалось никаких признаков какого бы то ни было экипажа, хоть плохенькой брички; в другом сарае, приспособленном под конюшню, не было и тени лошади. Чулан также был пуст. Она заглянула в погреб – и там никаких признаков не только «полной чаши», а хотя бы какого-нибудь достатка.

«Ничего у них нет, ничего не нажили, – с болью думала протоиерейша, – моя дочь – нищая».

На этот раз она уже сама обратилась к Фекле с расспросами. С Мурой нельзя было говорить ввиду ее положения. Фекла окончательно убила ее своим докладом.

– Боже мой, Боже мой! – говорила она с самым искренним соболезнованием. – Что только у нас делается, даже слов не подберешь, чтобы рассказать. Все покупное: молочко стаканами покупаем, сметану, масло, все, все из лавки берем!.. Средств нету коровку завести! Помещица дарила целых две – мне это приказчик ихний говорил – не захотели: «Не могу, – говорят, – подарков принимать...». Съездить куда – у почтаря лошадей берем... Поверите ли, бедная матушка лишнее яичко скушать стесняются!.. При ихнем-то положении, сами посудите, каково это! Доходу никакого! При прежних попах, бывало, засека ломится от зерна, хлеба этого девать некуда, и курочка, и поросенок, и теленок, и всякая всячина. А теперь даже деньгами не берут... Вот какие порядки!.. Дьякон с дьячком прямо чуть не с голоду мрут – это я вам истинно говорю...

«Что ж это такое? Что ж это такое? – в отчаянии думала Анна Николаевна. – Таковую ли судьбу я готовила своей дочери!»

Она хотела переговорить с Кириллом, но потом решила, что из этого ничего не выйдет.

«Я просто пойду к преосвященному, и отца Гавриила заставлю поехать. Пусть он его образумит. А нет, возьму да увезу Мурку к себе... Что это, в самом деле? Коли он святым хочет быть, зачем не пошел в монахи, зачем женился? Бедная моя Мурка!..»

С Кириллом Анна Николаевна почти не разговаривала и старалась даже не смотреть на него, а на Муру глядела с печалью и сожалением.

Роды кончились благополучно; протоиерейша прожила девять дней. Едва только Мура встала с постели, она распрощалась и уехала, взяв с собою акушерку. Она не хотела даже остаться на крестинах, только взяла с Муры слово, что она назовет сына в честь дедушки – Гавриилом. Она уехала с твердым решением действовать.

Марья Гавриловна замечательно счастливо перенесла болезнь. Вставши с постели, она уже чувствовала себя почти совсем здоровой и кормила сына прекрасным молоком. Мальчишка тоже был здоров. Его крестили и называли Гавриилом. Кумовьями были – Надежда Алексеевна и дьяк Дементий, который, стоя рядом с помещицей, ужасно конфузился. Зато когда кончился обряд и Крупеева собралась уехать, он улучил минуту, когда на крыльце не было

больше никого, и на правах кума попросил у нее одну десятинку земли под баштан. Надежда Алексеевна сейчас же согласилась, и Дементий был очень доволен.

Скоро после этого случилось событие, которого давно ожидали в Луговом. Однажды – это было в субботу перед вечерней – церковный сторож разглядел подъезжавшую к церкви кибитку, очень старого фасона, на высоких колесах и всю крытую клеенкой, вроде тех «фур», в которых ездят евреи, помещаясь в них по двадцати душ. Кибитка, запряженная парой, страшно тарыхтела, потому что была без рессор. У калитки она остановилась, сбоку поднялся болтавшийся кусок клеенки и образовалось окошко. В это окошко выглянула женская головка с милovidным личиком, в шляпке, из-под которой выглядывали светло-русые завитки волос.

– А где тут дом священника отца Родиона Манускриптова? – спросила молодая женщина.

– Отца Родиона дом? – спросил в свою очередь сторож. – А на что вам этот дом, когда он стоит пустой? Отца Родиона уже с полгода как нету!

Тут женская головка спряталась, и на месте ее появилась голова мужчины в черной пояровой³⁹ шляпе. Лицо было смуглое, загорелое. Сторож заметил небольшие усы и бородку. Волоса были коротко острижены.

– Здравствуй, любезный! – сказал он приятным тенорком: – Ты, должно быть, церковный сторож?

– Так и есть. Я – церковный сторож.

– А я – священник, на место отца Родиона. Покажи нам его дом, мы там жить будем...

Мы его купили.

Сторож не спеша снял шапку и тоже не спеша сказал:

– Пожалуйста!

Он проводил их до самого дома и тут же увидел, что по большой дороге тянутся три воза с мебелью и всяким хозяйственным скарбом. Затем он отправился к Кириллу и доложил:

– Новый священник, который на место отца Родиона прислан, прибыл.

– А, прибыл? Милости просим! – сказал Кирилл и подумал: «Теперь это уже не так страшно. Мои порядки пустили корни».

– И такие же молодые, как вы, батюшка! – прибавил сторож.

На это Кирилл ничего не сказал, но подумал, что это к лучшему. Молодой скорей поймет его, чем старый.

На другой день, во время воскресной службы, прихожане с удивлением расступились и дали дорогу новому священнику, который пробирался к алтарю. Он был маленького роста и крепкого сложения; лицо его дышало здоровьем и самоуверенностью. Темно-лиловая ряса сидела на нем как следует и была ему к лицу. Он ступал не быстро, сдержанной благочестивой походкой. Поднявшись на возвышение у алтаря, он ударил поклон и приложился к иконе иконостаса. Вид у него был такой, точно он собирался сейчас повернуться лицом к народу и сказать краткую проповедь или, по крайней мере, объявить: «Я – священник Макарий Силоамский, прислан на место Родиона Манускриптова». Но он этого не сделал, а вошел в алтарь через боковую дверь. Тут он ударил три земных поклона и, поклонившись затем Кириллу, который стоял у престола в облачении, благоговейно стал поодаль. Так он простоял всю обедню, причем все время обнаруживал несомненное благочестие: шептал молитвы, в надлежащих местах бил поклоны или наклонял только голову, а лицо его все время выражало молитвенную сосредоточенность. После обедни он тут же в алтаре подошел к Кириллу и вежливо взял у него благословение.

– Позвольте представиться: священник Макарий Силоамский! – сказал он.

Кирилл в свою очередь представился и пригласил его зайти к нему после обедни.

– Да, да, разумеется, необходимо переговорить, – сказал Силоамский.

³⁹ Поярок – шерсть первой стрижки от ягнят.

После обедни он пил чай у Кирилла. Он оказался веселым и разговорчивым человеком, очень много говорил про семинарию, про учителей, ректора и инспектора. Он прошлым летом кончил курс и целый год был псаломщиком. Кирилл помнил его, когда он был еще юношей, в первом классе, а Кирилл тогда кончал семинарию.

– Когда я, перед отъездом, зашел откланяться к преосвященному, он говорил мне о вас много приятного. Сказал, что вы очень умный и что у вас все должны учиться! – сообщил между прочим Силоамский.

– Спасибо преосвященному! – ответил Кирилл.

– Так уж я надеюсь, что будем жить в мире и согласии! – сказал новый священник, поднявшись, чтобы откланяться.

– Я буду этому очень рад!

Кирилл воздержался от всяких объяснений. Все объяснится само собой.

Перед вечером Обновленские отправились к помещице. Мура посетила Надежду Алексеевну в первый раз после родов. Они сидели в столовой за чайным столом. Окна в сад были открыты. Там уже цвела сирень, и комната была полна ее ароматом. Кирилл рассказывал о своем знакомстве с новым священником и выразил удовольствие по поводу того, что он молодой и что это его первый приход.

– В него еще не въелась рутина, притом и корыстные виды еще не успели овладеть им. Молодая душа доступнее добру, и вы увидите, что он будет мне добрым товарищем!..

Надежда Алексеевна слушала эти речи со скептической улыбкой. Глаза ее, устремленные на Кирилла, казалось, говорили: «Какой ты еще наивный и чистый ребенок! Не сыскать тебе товарища, потому что ты один только и есть такой!».

В это время доложили, что приехал новый священник. Надежда Алексеевна решила принять его в другой комнате и вышла туда.

Но дверь была полураскрыта, и Обновленские могли слышать разговор.

Силоамский вошел степенно и прежде всего стал отыскивать образа. Найдя маленькую иконку в углу под самым потолком, он трижды перекрестился и поклонился в ее направлении. Затем он поклонился и хозяйке.

– Позвольте представиться: вновь назначенный священник Макарий Силоамский.

Надежда Алексеевна ответила поклоном и пригласила садиться.

– Давно прибыли? – спросила она собственно для того, чтобы был какой-нибудь разговор.

– Вчерашнего дня. Но, несмотря на это, сегодня уже почел своим долгом отстоять обедню, а также представиться моему старшему товарищу, отцу Кириллу. Засим поспешил нанести визит вам. Позвольте рассчитывать, многоуважаемая Надежда Алексеевна, что встречу с вашей стороны благосклонность.

– Я к вашим услугам!

– Нет, я пока никакой просьбой вас не беспокою, но на будущее время случиться может какая-либо нужда. Например, заведется коровка-другая – где ее содержать? Или, например, сенца недостаток – к кому обратиться, как не к благосклонной помещице?

– Я к вашим услугам! – повторила Надежда Алексеевна и поднялась с лицом еще более холодным, чем при встрече.

– Более не смею вас беспокоить! – сказал отец Макарий и, тоже поднявшись, медленно наклонил голову, приложив правую руку к груди. Надежда Алексеевна кивнула головой и прибавила:

– Вот сюда!.. Не угодно ли! Эта дверь ведет в сад... У вас, вероятно, свои лошади?

– Да-с, парочку имею!.. За женой взял. Ничего, коники шустрые... Мое почтение!..

Надежда Алексеевна возвратилась в столовую и сейчас же начала говорить о садовнике, который три дня где-то пьянствует и не появляется в саду. Она вообще избегала говорить о людях дурно, считая это уделом сплетниц.

– Что же вы ничего не скажете о вашем госте? – спросила ее Мура.

– Он произвел на меня дурное впечатление! – сказала Надежда Алексеевна и продолжала о садовнике.

Кирилл печально опустил голову и думал: «Не успел показаться на глаза, как уже спешит предупредить: я попрошайка, имейте это в виду! Еще ничего ему не нужно, а он уже боится, чтобы не сочли его человеком самостоятельным. Странное дело! откуда это берется? В семинарии этому не обучают, а жил он еще слишком мало. Неужели это вошло уже в кровь и передается из рода в род, как особая способность? Как это грустно, как это грустно!».

Вечер прошел вяло. Надежда Алексеевна была под влиянием дурного впечатления. Она старалась занимать гостей, но из этого ничего не выходило. Кирилл слушал невнимательно и отвечал неохотно. Он думал «об особой способности, вошедшей в кровь» у его собратьев и «передаваемой из рода в род».

Они уехали домой рано, как только пробило девять часов. Мура спешила к ребенку. Едва они взошли на крыльцо церковного дома, как были удивлены необычайным присутствием в сенцах их квартиры гостей. Это были дьякон Симеон и дьяк Дементий. Они сидели на табуретках, поставленных Феклой специально для них. При появлении хозяев оба почтительно встали, а шляпы их оказались в руках.

– Что же это вы, господа, здесь сидите? Отчего не пожалуете в комнату? – спросил Кирилл. – Фекла, ты что же, не пригласила?

– Да я, батюшка, просила их в комнату, так не захотели, – ответила Фекла.

– Нет, ничего-с!.. Воздух хороший теперь! – нежно сказал дьякон.

Кирилл пригласил их в комнату. Марья Гавриловна ушла в спальню и занялась сыном.

– Ну, что скажете, господа? – спросил Кирилл причетников, заставив их сесть.

Дьякон откашлялся и промолвил, несколько запинаясь:

– Мы к вам, отец Кирилл, по своему делу... Давно уже собирались мы вот с Дементием Ермилычем обеспокоить ваше внимание, но между прочим...

Дьяк Дементий, очевидно, нашел, что дьякон гордит неподходящее, поэтому он со своей стороны громоносно откашлялся и выпалил:

– Пропадаем, отец Кирилл, прямо пропадаем!

Кирилл поднял на него свои взоры.

– Каким образом? – спросил он.

– Прямо почти что с голоду, отец Кирилл, пропадаем!

– С голоду?

– С голоду, отец Кирилл! Крепились мы долго, боялись обеспокоить вас... Но, наконец, нету сил... Семейства большие имеем, а корму никакого; самый, можно сказать, слабый... Жалованья, которое от помещицы, никак не хватает, землицы мало, с доходов брать воспрещено и никаких нет.

– Это действительно, действительно! – подтвердил дьякон.

– Не об излишке хлопочем, отец Кирилл, а о пропитании, прямо о насущном. Дети плачут, кушать хотят, отец Кирилл.

Кирилл уже ходил по комнате, заложив руки за спину и наклонив голову. Ему теперь показалось совершенно ясным, что дьякону и дьячку действительно должно было не хватать их малого жалованья. Ему самому в обрез хватало его жалованья, а у них его было гораздо меньше, между тем детей у них масса, тогда как у него один, да и тот еще ничего не стоит ему. Положение его было затруднительное. Он сам создал их бедность, а помочь был бессилён. Если бы у него что-нибудь оставалось, он охотно предложил бы им, но этого остатка не было. Отступить же от новых, введенных им порядков он не мог. Это была первая его победа, которую он высоко ценил.

– Отец Кирилл! – осторожно воззвал дьякон.

Кирилл остановился и посмотрел на него.

– Мы, собственно, с просьбой.

– Ну-те! ну-те! – нетерпеливо сказал Кирилл. Ему так хотелось, чтобы эта просьба была для них существенна, а для него исполнима.

– Землицы у нас мало, а у вас, отец Кирилл, побольше, и даже очень порядочно церковной земли. И притом она у вас гуляет... Так не отдадите ли нам, примерно, за четвертый сноп?

– А сколько мне земли приходится? – оживленно спросил Кирилл.

– Собственно, вам сорок четыре десятины, да в плавнях шесть, а всего пятьдесят!

– Вот и отлично! Отлично! – радостно воскликнул Кирилл, – вы ее засевайте... Засевайте себе! А мне ничего не надо! Мне некогда, не умею я, да притом мне хватает... Да, да! Засевайте, пожалуйста!

Причетники смотрели на него с недоумением.

– Как же это?.. – начал было Дементий, но решил, что лучше промолчать.

Кирилл подумал с минуту.

– Но скажите: тогда уже довольно будет? – спросил он.

– Мы очень благодарны, чувствительно благодарны! – в один голос ответили причетники и низко поклонились.

– Ну, идите с Богом и работайте, да только на меня не сердитесь!

Причетники еще раз поклонились и поспешили уйти.

– Блаженный, истинно блаженный! – сказал дьякон почти на ухо Дементию, когда они завернули уже за церковь.

– Завтра же чуть свет начнем рыть, а то, чего доброго, раздумает... Помещица отговорит либо этот отец Макарий.

– А Макарий, кажись, не таковский! Выжига порядочная... Это уже видно... В церковь пришел и такого на себя благолепия напустил, а сам, между прочим, сейчас к помещице полез, и уж наверняка канючил что-нибудь.

– Э, что! Нам теперь хорошо будет! – сказал Дементий с искренним удовольствием, похлопывая дьякона по спине, причем тот гнулся как лоза под тяжестью его руки. – По двадцать пять десятин прибавляется, да своих по пятнадцати, а всего по сорок! Да мы с вами – помещики, отец дьякон, а? Блаженный, так и есть, что блаженный! В голове у него какая-то недостача!

Когда Кирилл вошел в спальню, Мура спросила его:

– Зачем ты это сделал, Кирилл?

– Они бедствуют, Мура, действительно бедствуют! – ответил он.

– Но ведь за землю мы могли бы получить рублей шестьсот.

– А ты знаешь эту арифметику? – искренно удивился Кирилл.

– Мне Фекла объяснила! – угрюмо ответила Мура и больше не сказала ни слова.

Фекла, также слышавшая этот разговор, со страшным негодованием громыхла в кухне рогачами.

ХII

Отец Макарий Силоамский принадлежал к числу тех «студентов семинарии», которые с самого первого класса, то есть еще с детского возраста, все свои способности и стремления приурочивают к определенной цели – к приходу. Приход им рисуется исключительно в виде доходной статьи, с мешками жита и мерками проса – в виде добротных приношений от более зажиточных прихожан, с цыплятами и курами – живыми и жареными, с пикантным ароматом

свежего книша⁴⁰, с грудами всякого хлеба, со всевозможными льготами и преимуществами, которые пастырю должен оказывать всякий, и вообще с полной чашей материального довольства, где всего вдоволь и все готовое. Ко всему этому, в виде дополнения, прибавляется служебная часть – обедня, вечерня, утренняя и требы. Но никогда им и в голову не приходит мысль о том, с каким народом они будут иметь дело, какие обязанности возлагает на них состояние на приходе, будут ли они влиять на паству и как будут влиять. И когда они достигают желанной цели, то вырабатываются из них пастыри – исполнители треб. Их зовут на потребу – они идут, а прихожане со своей стороны несут им доходы. И прихожане смотрят на них как на исполнителей и не чают от них никакой духовной пищи, кроме той, которая полагается по чину служения и по Требнику.

Эти «студенты семинарии» любознательность свою ограничивают учебниками, а из литературы читают лишь то, что находится в хрестоматиях и разных пособиях. По части богословской литературы они уходят не дальше этого. Таким образом, извне ничто им не мешает вести свою линию, то есть готовиться к приходу в смысле доходной статьи. Впоследствии, когда им приходится попасть в кружок образованных людей, они нередко поражают краткими, но авторитетными отзывами о том, что Гоголь был хороший писатель, Тургенев написал «Бежин луг», а Пушкин – «Телегу жизни» и «Бесы». На приходе он начинает выписывать «Ниву» и «Епархиальные ведомости», вполне ограничивая этим все свои связи с интеллигентным миром; а ежели на них посмотреть со стороны, то становится грустно от их ограниченности и темноты, и думается: чему они могут научить темного человека? Каким светом просветить его? Мало-помалу, с годами, они забывают даже то, что находится в хрестоматиях, и вместо того, чтобы возвышать пасомых до своего уровня, незаметно уподобляются им, впитывая в себя все их предрассудки и заблуждения.

Отец Макарий Силоамский в бытность в семинарии состоял также и архиерейским певчим. У него был высокий тенор, и одно время его светские знакомые советовали ему даже готовиться на сцену. Но он смотрел на вещи здраво, за славой не гонялся и журавлю на небе предпочитал синицу в руках, то есть приход. Архиерей назначил его в Луговое за его певческие заслуги, так как за Луговым оставалась репутация прекрасного прихода. Он купил дом отца Родиона через какого-то посредника и приехал в Луговое с самыми радужными «приходскими» мечтами. Но на первых же похоронах он был ужасно смущен, не получив никакого дохода. Ему было неловко на первом дебюте обратиться с претензией прямо к мужику. Поэтому он осведомился у причта.

– А как же насчет вознаграждения? У вас как? Когда дают? До или после?

– У нас совсем не дают! – сказал Дементий и при этом с невероятным лукавством посмотрел на дьякона.

Взгляд его говорил: «Блюдите, отец дьякон, какую он сейчас рожу скорчит!».

Но Силоамский рожу никакой не скорчил, а взглянул на него в упор, почти гневно.

– Я не ради шутки спрашиваю! – сердито сказал он. – А нужно же мне знать порядки!

Дементий опять выразительно покосился на дьякона: «Нет, вы таки блюдите, отец дьякон, блюдите!».

– Порядок у нас такой, что за требы ни копейки! Совершенно даром. Вполне. Только вот хлеб, который на панихидках, и прочее, это принимаем.

– Вы, кажется, хотите морочить меня! – по-прежнему сердито, но в то же время с легким оттенком тревоги сказал Силоамский.

– Как же можно? Разве я посмел бы? Отец дьякон, подтвердите!

– Истинно так! – сказал дьякон. – До отца Кирилла были доходы, и очень даже хорошие, а отец Кирилл вывели это.

⁴⁰ Книш – печеный белый хлеб.

– Как вывели? Каким же образом жить? Надо же жить как-нибудь! Да нет... я просто этого не понимаю!

«А вот погоди, поймешь», – подумал Дементий и объяснил:

– А жить? Жить надо на жалованье! Госпожа помещица от себя жалованье назначила: священникам по пятидесяти в месяц, а нам много поменьше!..

Силоамский машинально вынул цветной платок и вытер пот, выступивший у него на лбу. Он почувствовал себя так, как будто внезапно попал в ловушку.

– Так вот какие порядки! Приход без дохода?! Ха-ха!.. Ну, это мы посмотрим, это мы посмотрим!.. Надо обсудить, по какому праву так распоряжается настоятель! Мы посмотрим!

Он сказал это с нескрываемой злобой и, забыв о необходимости сохранить благочестивый вид, снимал облачение с такой энергией, словно хотел разорвать его на части.

Дементий и дьякон ужасно злорадствовали. Силоамский им не нравился, и они даже ценой воспоминания о потере прежних доходов с удовольствием ранили его сердце этим объяснением. Сами они уже совсем успокоились. На земле Кириллы, которую они поделили пополам, уже зеленели первые всходы, и они в самом деле чувствовали себя помещиками. Силоамский отправился сперва домой, но сейчас же выскочил из комнаты, схватил шляпу и помчался к Кириллу. Войдя в квартиру настоятеля, он даже забыл поздороваться и прямо приступил к делу. Он сразу начал кричать высочайшим тенором:

– Позвольте, отец Кирилл! Что же это такое? Что это за порядки? По какому праву? На каких таких основаниях?

– В чем дело? В чем дело? – спросил Кирилл, вставая из-за обеденного стола и вытирая салфеткой губы.

Марья Гавриловна смотрела на Силоамского с испугом.

– Да нет, я вас спрашиваю: на каком основании? Где такой закон? Покажите мне его, этот закон! – продолжал Силоамский, совершенно обезумевший от разочарования в «лучшем доходнейшем приходе». – Хотя вы настоятель, но этого вам не дано. Нет, этого не дано! Извините-с!

– Да в чем же дело, отец Макарий? Я ничего понять не могу!

– Как в чем дело? Вы искоренили законные доходы и завели какое-то жалованье, какие-то там пятьдесят рублей в месяц... Очень мне нужно ваше жалованье! Я имею право на законный доход!

– Да, – сказал твердо и внушительно Кирилл, – у нас такие порядки, и вам придется подчиниться им!

– Ни за что! Чтобы я подчинился этим порядкам, которые вы выдумали? Да никогда! Я отказываюсь от вашего жалованья и буду требовать то, что мне следует. Да какое вы имеете право? Это превышение прав! Я буду жаловаться – и вас... вас в монастырь сошлют... Вы не думайте, что вы там магистрант, так вам все позволят! Преосвященный меня знает, я был у него певчим... Вот что!..

– Хотя я и не был певчим, тем не менее прошу вас уйти отсюда, потому что вы неприлично себя ведете! – промолвил Кирилл, с трудом скрывая раздражение.

Этот молоденький пастырь, едва начавший жить своим трудом, уже так настойчиво и горячо требует доходов, требует права обратить свое служение в ремесло! Это его и бесило, и приводило в негодование, и глубоко печалило. А он еще так надеялся на его молодость, которая, как он думал, мало чувствительна к корысти. Но вот отец Родион был стар и насквозь пропитан старыми порядками, а между тем он так стремительно и даже нагло не требовал своих прав на доход.

Услышав приглашение уйти, сказанное притом суровым тоном, Силоамский остановился и как-то сразу охладел. Он не желал оскорблять настоятеля и даже не хотел ссориться с ним.

Это было не в его правилах. Но в порыве своего негодования он не заметил, что раскричался и был действительно неприличен.

– Извините! – сказал он Марье Гавриловне и поклонился ей. – Я действительно в увлечении, того... хватил через край и, может быть, сказал что-либо обидное. Но позвольте мне объясниться.

Но Кирилл уже не слушал его. Он в сильном волнении ходил по комнате. Покой его был отравлен. Более полугода он был один на приходе, и ему казалось, что новые порядки уже привились окончательно, неискоренимо, что они в Луговом сделались уже законом, против которого спорить нельзя. Но главным образом его мучило сознание, что этот молодой так же мало понимает его, как и старый отец Родион, и даже еще меньше. Что же это? Неужели он так и останется воевать в поле один? Неужели эта вековая атмосфера, среди которой развивается новое поколение пастырей, так охватила их всецело и пронизала насквозь, что совсем нет к их умам доступа для светлой идеи, для осмысленного отношения к своей задаче. Да какая у них задача? Никакой задачи у них нет, кроме общей всем людям – жить в свое удовольствие и обеспечить старость.

Кирилл остановился и посмотрел на Силоамского грустными глазами. Он сказал пониженым и как будто утомленным голосом:

– Что нам объясняться, отец Макарий! Уж видно сразу, что мы не пойдем друг друга. Разные мы с вами, слишком даже разные! Разные у нас понятия, цели, стремления. Вам нужен доход, а мне его не нужно; вас он радует, а меня оскорбляет! Вы приехали сюда за тем, чтобы обеспечить себя, а я – за тем, чтобы послужить бедным и темным людям. Что ж нам объясняться! И так ясно. Одно только скажу: делайте что хотите, а порядками, которые я завел, я не поступлюсь. Вот все, что могу сказать вам!..

И Кирилл опустился на диван, бледный и совершенно расстроенный. Силоамский взглянул на него исподлобья, потом перенес этот взгляд на Марию Гавриловну, расправил свою шляпу, повернулся к двери и вышел.

В течение целой недели Силоамский хранил в себе злобу и ничего не предпринимал. После тирады, произнесенной Кириллом, он почувствовал, что его решимость во что бы то ни стало настоять на своем праве как-то вдруг поколебалась. Он понял, что у Кирилла это, во всяком случае, не самодурство, и странное дело – он определил это совершенно тем же выражением, как и отец Родион. Он сказал:

– Тут есть загвоздка!

Прошла неделя. Однажды вечером Силоамский пригласил к себе дьякона отца Симеона и любезно предложил ему откушать вместе с ним и с матушкой чаю. Матушка была очень молоденькая и недурная собой блондинка; она говорила звонким грудным голосом и чуть-чуть пришепывала.

– Знаете, это просто ужасно, просто ужасно! – говорила она дьякону, и при этом ее светлые глазки готовы были заплакать. – Мы потратились, купили этот дом, и вдруг такой сюрприз. Возможно ли, чтобы начальство терпело такой произвол?

– Да-с! А вот терпит! Мы с Дементием Ермилычем уже целый год страдаем! – с лицемерным сочувствием сказал дьякон, не упомянув, разумеется, о земле Кирилла.

– А скажите, пожалуйста, отец дьякон, что это за личность – помещица? – спросил Силоамский.

– Помещица-с? Так личность... Господь ее знает, что она за личность. Мы ее никогда и не видим. Сидит в своем саду, словно медведь в берлоге. Ни с кем не водится и от духовных лиц отдалается.

– Гм... значит, подозрительная. Это бывает.

– Вот только с отцом Кириллом очень сошлась. Часто ездят друг к другу.

– Так, так! Это весьма подозрительно. Весьма!.. Я пойду к архиерею и доложу ему.

– К архиерею? Не советовал бы!

– Это почему? Архиерей ко мне расположен. Я ведь у него певчим был, в хоре пел!..

– Как же, как же! Он даже соло выделял, да!.. – не без некоторой гордости подтвердила матушка.

– А все-таки не советую! – сказал дьякон. – Не советую.

– Да почему же, скажите, пожалуйста? Ведь это прямое беззаконие!.. Ведь нет такого закона, нет!..

– Оно положим. Только вот отец Родион тоже так говорил, а поехал к преосвященному, и вышло дело скверное. Преосвященный сказал ему: «Я, – говорит, – этого священника, то есть отца Кирилла, всей епархии в пример ставлю и все его действия очень даже одобряю!». Вот что сказал преосвященный. А когда отец Родион намекнул на перевод его, то есть отца Кирилла, так преосвященный говорит: «Нет, мне его наказывать не за что, а вот тебя – то есть отца Родиона, – пожалуй, переведу», – и перевел. Вот какие взгляды имеет преосвященный владыка!..

– Ну, это положим! – самоуверенно возразил Силоамский. – То отец Родион, а то я. Это далеко не одно и то же!..

– Еще бы! – сказала матушка. – Я же говорю вам, что он даже выделял соло. Это не всякий может!

Одним словом, Силоамский решил последовать примеру отца Родиона и отправиться к архиерею. Он поехал вместе с матушкой, которая была городского происхождения.

Уже после поездки отца Родиона в губернском городе стали носиться кое-какие рассказы о молодом священнике Обновленном, который, будучи магистрантом, поехал на приход в деревню и там завел небывалый порядок, отказавшись от всяких доходов. Но тогда эти рассказы просуществовали среди духовного сословия недолго. Никто на них не настаивал; сам отец Родион рассказал двум-трем приятелям в порыве накипевшего негодования, но после диалога с архиереем своих рассказов не возобновлял и даже на вопросы отмалчивался.

Силоамские объехали всех своих знакомых, которых у них было множество. Отец Макарий посетил батюшек, а супруга его матушек. Силоамский зашел даже к ректору семинарии, отцу Межову, и рассказал ему про Кирилла.

– Да, да, я это почти предвидел и предупредил владыку. В нем и тогда еще, когда он приехал из академии, был замечен некий дух отчуждения и заносчивости.

– Он всегда был немножко сумасшедший, а теперь совсем помешался! – заметил присутствовавший здесь молодой Межов, с большим успехом исполнявший теперь должность инспектора семинарии. – Помилуйте, с какой стати магистранту лезть в деревню? Есть ли тут хоть капля смысла?

– Знаете что, Силоамский! – предложил ректор. – Вы не спешите к архиерею. Я сам прежде съезжу к нему и поговорю с ним серьезно. Необходимо общими усилиями образумить этого молодого человека! Или вот что: явитесь вы к архиерею завтра часов в десять, и я там буду.

Рассказы про чудачества Кирилла удивительно быстро облетели все церковные дома губернского города и к вечеру того же дня долетели до отца Гавриила Фортификантова и до Анны Николаевны.

– Что ж это такое, скажите пожалуйста?! – восклицала Анна Николаевна. – Он уже делался басней на весь город, на всю губернию! И это мой зять, муж моей дочери?! Да неужели же это так и останется? Отец Гавриил! Ты должен принять меры! Ты должен поехать к архиерею, просить, требовать, я не знаю что... Надо спасти нашу дочь!..

Отец Гавриил, обладавший спокойным характером и обо всем на свете полагавший, что «перемелется – мука будет», тем не менее, вследствие настойчивых требований жены, поехал к ректору посоветоваться. Они условились вместе отправиться к архиерею. Они приехали

вместе. У подъезда стояла архиерейская карета, запряженная четверней вороных цугом. Они поспешили подняться наверх. Ректор шел впереди, ступая с большим достоинством; за ним мелкой походкой ретиво поднимался Силоамский, и уже в некотором отдалении, задумчиво опустив голову, вяло двигался отец Гавриил Фортификантов. Архиерей сейчас же вышел. Он был в темно-зеленой рясе с отливами и в клобуке с длинной мантией. В правой руке у него была солидная трость с дорогим набалдашником, а в левой – четки, но не те черные, вязанные из шелковых ниток, а парадные, из каких-то редких и красивых камешков. Он очевидно спешил куда-то.

– А, какой почтенный триумвират! – сказал он веселым тоном. – И я уже знаю, зачем вы пришли! Ты, певчий, приехал с жалобой на Кирилла Обновленского, так, что ли? Уж я по глазам вижу! А отец ректор желает поддержать тебя своим авторитетом! Что же до тебя, отец Гавриил, то ты, полагаю, ради доброй компании пришел! Ну, в чем дело? Говорите! Кто будет говорить?

– Действительно, ваше преосвященство! – начал было Силоамский.

– Ну вот, ну вот! Я же угадал! с жалобой! Доходу нет? а? Так?

– Со своей стороны считаю долгом сказать... – с весом заговорил ректор, но архиерей и ему не дал договорить.

– Стыдитесь, други мои, стыдитесь!.. – внушительно проговорил он. – Радоваться надлежит такому явлению, как этот молодой священник, а вы – с жалобой! Блага городской жизни презрел, почести отверг, бескорыстно ближнему служит. Что же тут дурного? Ну, ты, отец ректор, догматик ты известный, скажи, что тут дурного по существу дела?

– Ваше преосвященство! у него с помещицей подозрительные дела! – поспешно сказал Силоамский, боясь, чтобы архиерей не перебил его на первом слове.

Это заявление вызвало удивление на лице ректора, а отец Гавриил покраснел от негодования.

– Глупец! – строго сказал архиерей. – За эту ложь тебя следовало бы в монастырь на месяц послать. Ничего подозрительного в его делах нет; душою он чист как младенец!

И, сказав это, архиерей пошел к выходу. Триумвират стоял огорошенный столь неожиданным оборотом дела.

Когда они вышли во двор, кареты уже не было. Как-то само собой вышло, что все трое пошли в разные стороны. Особенно быстро и неизвестно куда скрылся Силоамский, которому было совестно, так как он понимал, что своим заявлением о помещице он испортил всю музыку.

После этого эпизода в отношениях между луговским причтом наступило затишье. Силоамский приехал из города с таким видом, словно ничего не случилось. Об архиерейском приеме ни он, ни матушка не сказали никому ни слова. Когда дьякон, сильно заинтересовавшийся исходом дела, однажды осмелился спросить Силоамского, что сказал ему архиерей, тот ответил с самым простым и невинным видом:

– Нет, я, знаете, раздумал и у архиерея не был. Неловко как-то, знаете, дурно докладывать о товарище. Оно похоже как бы на ябеду. Нет, я так решил: поживу здесь немного, а там просто попрошу перевода куда-нибудь, даже не объясняя причин.

С Кириллом Силоамский был чрезвычайно вежлив и почтителен; никогда не возвышал голоса и для большего доказательства своего смирения послал свою жену с визитом к Муре. Матушки поговорили с четверть часа, очень ловко соблюдая все условия самого тонкого такта. Мура отдала визит, но этим и ограничилось знакомство.

Наконец Силоамский не выдержал. Не получая никаких доходов и не успев ни засеять, ни отдать в аренду церковной земли, он смотрел на время, проведенное в Луговом, как на потерянное. Поэтому он еще раз съездил в город, потратил массу энергии, пустил в ход все

свои певческие связи и добился-таки перевода. В июле старый дом отца Родиона опять опустел, и опять Кирилл, к своему полному удовольствию, остался один на приходе.

ХІІІ

Между тем луговскому населению и целому уезду грозила беда. Почти в течение целого мая и весь июнь с неба не упало ни дождинки. Рожь, поднявшаяся было на две четверти, вдруг преждевременно пожелтела и выбросила жалкий колос, лишенный зерна. Рожь пропала повсеместно, и ее скосили на солому. Надеялись, что к Ивану Предтече погода переменится, ударит дождь и подымет пшеницу, но надежда не оправдалась, и вот едва поднявшаяся пшеница стала вянуть, не успев даже заколоситься. Степь на десятки верст кругом представляла грустное зрелище. Пожелтевшие нивы и черные поля. Уныло бродил по бесплодным пастбищам домашний скот, изможденный голодом и нестерпимо палящим зноем, останавливаясь среди голых полей и по целым часам безнадежно глядя на светло-голубое небо, где не было видно ни клочка облака. По временам на него вдруг находило какое-то исступление, и он целой гурьбой, стуча копытами по высохшей земле, мчался к луговой речонке, но, видя вместо воды извилистое, узкое русло, так как речка давно уже высохла, начинал стонать с невыразимой тоской. В колодцах берегли воду как золото, поили скот из рук, боясь, чтобы колодцы не высохли и не пришла смерть от жажды. У селян, однако, был запас прошлогоднего хлеба, который они и старались расходовать экономно. Притом и надежда не оскудевала. Лето прошло – надеялись на пшеницу; стала желтеть пшеница – возложили надежду на просо. Но вот и июль приходил к концу, и Илья прошел без дождя; наступил август, и были похоронены все надежды.

Кирилл повсюду, и в церкви, и на требах, встречал мрачные лица селян и сам с каждым днем становился все мрачнее. Проходя мимо кабака, он слышал доносившиеся оттуда крики, песни и ругательства и припоминал, что в лучшее время эти крики были слышны реже и раздавались не так резко. И он думал о том, как страшно устроено это существо, этот темный деревенский человек, который в голодные дни все-таки находит кое-что для того, чтобы пропить. Он останавливал, увещевал, старался образумить.

– Батюшка! – отвечали ему подвыпившие. – Все одно с голоду попухнем! А так и умирать веселее!

– Не надо умирать, а бороться надо! – говорил Кирилл, но тут же сам начинал понимать, что это пустые слова, потому что борьба немыслима. «Не бороться, а выносить терпеливо, покорно, в ожидании лучшего», – думалось ему.

С половины августа появились случаи скотского падежа. Скот издыхал от истощения и жажды, издыхал среди поля, где стоял. В разных концах деревни раздавался плач.

– Так и с нами будет, как со скотинкой! – говорили мужики и, глядя на издохшую корову, обливались такими же горячими слезами, как если бы умер близкий человек.

Кирилл приходил домой расстроенный и мрачный. Тяжелые мысли наполняли его голову. Он видел людей совершенно беспомощных, которым угрожал близкий голод. Он говорил слова утешения и тут же с болью в сердце сознавал, что эти слова никого не утешат, что нужна помощь действительная, помощь делом, хлебом. На него напала какая-то нерешительность. Бывали минуты, когда ему казалось, что вся его деятельность, которую он так высоко ставил, – пустая забава, не больше. Что он делал? Поучал, просвещал, может быть, кого-нибудь сделал умнее, просветил чью-нибудь заблуждающуюся душу, но вот надо сохранить людям здоровье и даже жизнь – и он бессилен. Он перестал брать доходы, это хорошо, но теперь это уже не заслуга, потому что все равно у мужиков давать нечего.

Однажды к нему пришли звать на похороны, как раз в то время, когда они обедали с Мурой. Явился паренек в грязной, затасканной сорочке, босой, с лицом бледным и испещренным пятнами. У него умерла мать.

– Отчего она умерла? – с тревогой в голосе спросил Кирилл, который еще три дня тому назад видел его мать, Арину Терпелиху, когда она, сгибаясь под тяжестью ведер, несла от колодца домой воду.

– А Бог ее знает! – тупо глядя в пространство, ответил паренек. – Надо полагать, с пищи.

– Что значит с пищи? – с еще большею тревогой продолжал свой допрос Кирилл, уже предчувствуя в душе своей что-то грозное.

– Вчерась похлебки из высевок⁴¹ поела, так ее и подвело.

– Из высевок? Это значит – из отрубей! – каким-то особенно глухим голосом пояснил он Муре. – Отруби едят... Вот до чего дошло!..

Он ходил по комнате почти в иступлении. В груди у него зачиналась страшная буря. Он чувствовал, что как будто какая-то сила побуждает его и насильно гонит куда-то, на какой-то подвиг, и он перестает принадлежать самому себе. Мура смотрела на него с изумлением и со страхом. Она тихо сказала пареньку:

– Иди, батюшка придет!

И когда паренек вышел, тихо спросила:

– Кирилл, что с тобой?

Она встала и подошла к нему. Лицо его было бледно; большие глаза горели, как у больного. Она взяла его за руку, он остановился.

– Что с тобой, Кирилл? – дрожащим голосом повторила Мура.

– Ах, Мура! – простонал он и припал головой к ее груди. Мура чувствовала, что он плачет, старалась успокоить его, но ничего не понимала.

– Кирилл, отчего это? Почему ты плачешь?

– Как? Разве ты не видишь? Начинается голод, вот первая смерть от голода, голодная смерть, Мура, среди людей, среди оживленных городов, где бойко идет торговля и люди веселятся и предаются излишествам! Ведь это ужасно, Мура! Смотреть на это нельзя сложа руки! Нельзя есть этот сытный обед, когда женщина умирает от похлебки из отрубей... Нельзя, нельзя!.. Надо действовать!..

Он говорил это задыхающимся голосом и при этом глядел в окно, откуда видна деревня. Его воображению представлялось, что смерть уже ходит по всем хатам и что он уже опоздал со своею помощью. Ведь опоздал же он помочь этой женщине, которая умерла от похлебки.

– Но что же мы можем поделать, Кирилл? Ведь мы сами бедны! – сказала Мура.

Но Кирилл не ответил на это. Он порывисто надел на себя рясу, схватил шляпу и выбежал из комнаты. Он почти бежал по дороге к помещице. Ветер вздувал полы его рясы, и он, размахивая руками и делая большие шаги, походил на огромную птицу, несущуюся низко над самой землей.

– Куда это наш батюшка так бежит? – с недоумением спрашивали друг у друга встречные мужики. – Может, что случилось такое? И бледный какой, точно смерть, и глаза как горят!..

Кирилл не заметил, как прошел три версты. Он сильно дернул калитку сада, прошел садовой аллеей и не обратил внимания на свирепый лай цепной собаки, которая, несмотря на то что часто его видала, не могла никак примириться с его рясой. Он поднялся на крыльцо и вошел в переднюю. Тут ему встретилась горничная.

– Где Надежда Алексеевна? – спросил он и, не дожидаясь ответа, прошел в столовую.

Надежда Алексеевна только что села за обеденный стол. Рядом с нею, на высоком стуле, сидел мальчик с подвязанной под самую шею салфеткой. Взглянув на Кирилла, она оставила ложку и поднялась. Вид его был до такой степени необычайный, что она и не подумала пригласить его обедать, а прямо обратилась к нему с тревожным вопросом:

– Что случилось? Говорите скорей! Что-нибудь с Марьей Гавриловной, с Гаврюшей?

⁴¹ Высевки – остатки, получающиеся при просеивании сыпучих тел (муки, овса и др.).

– Нет, нет! Голод! Люди мрут от голода! – возвышенным голосом отвечал он и, подняв руку, медленным жестом указал по направлению к деревне: – Там! – прибавил он.

Его тон, голос и движения были величественны. Как бы почувствовав призвание, он в эту минуту не мог говорить просто, а мог только призывать, будить, проповедовать. Те слова, которые он скажет сейчас, полчаса назад показались бы ему напыщенными, а этот величественный жест – театральным.

– Где – там? – спросила Надежда Алексеевна.

Ей было известно, что на селе не ждали урожая, в ее собственной экономии было тоже оскудение, хотя далеко не в той степени, потому что было много земли и кое-где все-таки уродило. Но она не подозревала, что дошло до голода.

– На деревне! – ответил Кирилл прежним голосом. – За мной только что приходили – хоронить; умерла Терпелиха от мякинной похлебки! Значит, уже есть совсем нечего. А мы с вами вот вкусно и сытно обедаем и всячески наслаждаемся жизнью. Послушайте, Надежда Алексеевна, я отдам все что имею, но это ничтожные крохи. Помощь нужна существенная! Вы можете помочь и должны, должны, и поможете. Ведь у вас хорошее сердце!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.